

Герберт Рид

Зеленое дитя



Б.С.Г.-ПРЕСС

Herbert Read The Green Child

...Бывший диктатор, которого «зеленое дитя» заманило под воду в верховьях реки, за мельницей, ждет своего часа глубоко под землей, в таинственной стране, не похожей ни на одну державу мира. Он остался один в своем кристальном гроте и ждет, не дожидаясь, когда же придет смерть и наступит долгожданное окаменение. Все привычные людские заботы, страсти, волнения, страхи, грехи отступили, – отпало все то, что ему раньше никак не удавалось вытравить ни у себя в республике, ни в собственной душе. Им владеет одно-единственное желание: смириться, стать камнем, превратиться в кристалл, обрести законченность образа, – какого еще торжества желать после этого человеку?

...На мой взгляд, «Зеленое дитя» Рида – его единственный роман – стоит в одном ряду с великими поэмами XX века.

Из статьи 1947 г. и «Личного предисловия» Грэма Грина к книге Герберта Рида «Противоречивый опыт: автобиография» (1972 г.)

...Среди английских писателей мало универсалов, подобных Риду, – я, во всяком случае, таких не знаю. Мало кто так же глубоко, как он, вникал в разнообразные вопросы своего времени. И, пожалуй, никто, кроме него, не дал столь исчерпывающего истолкования – в критике и собственном творчестве – того направления, которое мы сегодня в ретроспективе называем модернизмом.

Из книги Джорджа Вудкока «Герберт Рид: поток и истоки» (1972 г.)

Книга Рида «Познавать через искусство» «изменила самые основы нашей образовательной системы», «исподволь... способствовала появлению многих талантливых художников, благодаря которым современное английское искусство перестало быть островным, «местечковым».

Из выступления Генри Мура на Би-Би-Си (12 июня 1968 г.)

Post **Factum**

Герберт РИД

Зеленое дитя

РОМАН

Перевод
Наталии Рейнгольд



Б.С.Г.-ПРЕСС
МОСКВА 2004

*Издательство выражает глубокую благодарность
Пирсу Полу Риду, сыну Герберта Рида, известному у себя
на родине и в России писателю, за предоставленную
возможность опубликовать в русском переводе
его статью «Герберт Рид» (1996).*

Составление серии, вступительная статья, перевод
и комментарии Натальи Рейнгольд

Предисловие Пирса Пола Рида

Макет и художественное оформление
Андрея Рыбакова

Рид Г.

Р 49 Зеленое дитя: Роман / Пер. с англ. Н.Рейнгольд; пред-
исл. П.П.Рида; вступ. статья, коммент. Н.Рейнгольд. –
М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004. – 320 с. – (Post Factum)

ISBN: 5-93381-153-X

Герой романа, чьи жизненные принципы рассыпаются под на-
пором действительности, решает искать счастья в чужих краях.
Его ждет множество испытаний: нищета, борьба за существова-
ние, арест, бегство, скитания по морям на пиратском судне, –
пока он не попадет в край своей мечты, Южную Америку. Одна-
ко его скитания на этом не заканчиваются, и судьба сводит его
с необыкновенным созданием – девушкой из подземного ми-
ра, случайно оказавшейся среди людей.

ББК 84 (4 Вел) 44

ISBN: 5-93381-153-X

© Pears Paul Read, 1996.
© Н.Рейнгольд, вступ. статья,
перевод, коммент., 2004.
© А.Рыбаков, оформление, 2004
© «Б.С.Г.-ПРЕСС», издание на русском
языке, 2004

Terra Incognita *Герберта Рида*

Литературно- биографический очерк

Грэм Грин вспоминает, как он, начинающий писатель, познакомился с Гербертом Ридом: «В молодости Т. С. Элиот и Герберт Рид были моими кумирами (они значили для меня больше, чем Джойс и... Паунд...). Сам я никогда не набрался бы смелости приблизиться к Элиоту или Риду. Какое им дело до зеленого, никому не известного романиста? И то, что я не помню точную дату своего знакомства с Ридом, это, конечно, перст судьбы: помню лишь, что я страшно возгордился, изумился и слегка напугался, получив от него письмо с приглашением пожаловать к нему на обед. "Будет Элиот – больше никого, все очень скромно". Для меня это было все равно, что получить приглашение от Колриджа: "Будет Вордсворт – больше никого..."»

Для русского читателя, хорошо знакомого с Грэмом Грином – романистом, сценаристом, автором «Тихого американца» и «Нашего человека в Гаване», буквально от корки до корки переведенного (заметьте, совершенно заслуженно) в советское время и изданного сотысячными тиражами, – в этих воспоминаниях скрыта загадка: кто такой Герберт Рид? И почему Грэм Грин явно с чувством пиетета сравнивает

его с Сэмюэлем Колриджем – великим английским романтиком, автором «Сказания о старом мореходе» и «Кубла Хана», «мозговым центром» английской школы романтизма?

Увы, подавляющему большинству русских читателей имя Герберта Рида ни о чем не говорит. Его никогда не переводили в России. Если продолжить гриновское сравнение, – мы не знаем о существовании Колриджа XX века. Настораживает, правда? С нашей «тоской по мировой культуре» странно натолкнуться на это белое пятно на воображаемой карте.

Если воспользоваться сравнением другого знаменитого англичанина: каждый человек – это остров, и, с его утратой, меньше становится Европа, то получается, что, не переведя в свое время Герберта Рида, мы потеряли все на той же умозрительной карте мировой культуры XX века то ли остров, то ли мыс, – во всяком случае, какую-то неведомую землю с условным названием «Герберт Рид», которая у англичан не только значится на карте, но имеет четкие координаты и контуры.

Дальше – больше. Если открыть европейскую историю I мировой войны и найти в ней главу «Поколение английских писателей и поэтов, участвовавших в боевых действиях на Западном фронте», то среди более или менее известных нам Ричарда Олдингтона, Руперта Брука, Зигфрида Сэссона, Т. Э. Хьюма, Генри Мура, Уиндема Льюиса, а теперь и Форда Мэдокса Форда, мы найдем и славное имя Герберта Рида, воевавшего на Сомме в 1918 году. Однако аналогичная страница русской истории об английских деятелях культуры, прошедших через испытания I мировой войны и

получивших у нас столь любимый ярлычок «потерянного поколения», ничего о Герберте Риде не сообщает. И здесь – пустота, белое пятно.

Если же мысленно нарисовать политическую карту Великобритании XX века, то на русской версии мы найдем имя Герберта Рида с жирной красной пометкой «СПЕЦХРАН». В центральных библиотеках бывшего Советского Союза труды Рида о коммунизме и марксизме, философии анархизма и экзистенциализма были предусмотрительно «арестованы» в 1930–40-е годы, выдавались только по спецразрешению, и то исключительно для критики идеалистической философии и буржуазной эстетики. В бывшем Советском Союзе таких «научно-критических» диссертаций «по Риду» было выполнено всего три. И если б не наличие нескольких художественных и искусствоведческих текстов Рида в оригинале все в тех же столичных библиотеках, не знать бы нам вообще о существовании этого писателя, поэта и философа.

Впервые публикуя Рида по-русски, мы не просто совершаем культурную акцию, заполняем пресловутые «лакуны», но, хочется надеяться, уточняем представления о европейском и английском искусстве и литературе первой половины XX века.

Рид был не только знаком и дружен с выдающимися деятелями литературы, искусства и науки, – теми, кого сегодня принято называть «классиками»: Т. С. Элиотом, Генри Муром, Фордом Мэдоксом Фордом, Грэмом Грином, Кэндлинским, К. Г. Юнгом и многими-многими другими. Он несколько десятилетий подряд занимал центральное поло-

жение в спорах об авангарде, сюрреализме, абстрактном искусстве. Помогало и то, что он сам был поэтом и прозаиком.

Рид – это редкий случай теоретика и художника, который увязывал искусство – и вопросы социальной справедливости, литературу – и вопросы свободы, персонального существования. Причем темы эти имели для него, что называется, культурную окраску, соотносились с идеями Французской революции, Руссо, философии Г.Торо, теорией К.Г.Юнга и т.д. Так что, впервые открывая русское издание Рида, читатель попадает на многие большие темы и имена культуры последних трех столетий, оказываясь в самой сердцевине проблем и споров об искусстве.

И, конечно, интересно приоткрыть завесу молчания, окружавшую имя Рида в бывшем СССР. Откуда это многолетнее забвение? Чем анархист сэр Герберт Рид не угодил советским марксистам?

Вперед, читатель!

...

Герберт Рид (1893–1968) словно сошел со страниц романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй». Он, как Септимус Смит, один из героев романа, – молодой романтичный поэт из провинции, влюбленный в учительницу, с томиком Китса (в его случае это «Государство» Платона, «Дон Кихот» Сервантеса и «Антология английской поэзии»). Смит навсегда ушиблен войной – погибшие боевые товарищи стоят у него перед глазами, как живые, заслоняя мир. «"Эванс! Эванс!" – кричал Смит, не замечая взглядов удивленных прохожих на лондонских улицах». В состоянии наважде-

ния он пишет на клочке бумаги отдельные буквы, слова, видя в них откровение, – чем не сюр? (Похоже, Вулф объясняет рождение сюрреалистической поэзии адовым опытом войны). Одно не сошлось в судьбах Септимуса Смита и Герберта Рида: Рид выжил, не покончил с собой, как Смит, и написал историю и эстетику модернизма, того самого направления, к которому принадлежали и Вулф, и Элиот, и Паунд, и Джойс, и многие другие литераторы и художники 10–20-х гг.

Естественно, в его представлениях об искусстве, литературе, а также идеях, более общих, – о свободе, демократии, социальной справедливости, – много общего с модернистами старшего поколения.

Подобно Д. Г. Лоренсу и Вулф, Рид видел в литературе и искусстве способ развития личности, полноты и свободы осуществления человека: эта модернистская, в основе своей ницшеанская идея была частью его кредо писателя и теоретика искусства. За его книгой «Познавать через искусство» (*Education through Art*, 1943) о необходимости эстетического воспитания, – казалось бы, совершенно мирном предмете, – на самом деле стояла чисто модернистская идея бунта: пробудить в людях чувство свободы, средствами образования и воспитания, но не политики. В этом, собственно, и состоял вклад Рида в философию анархизма.

Вслед за Вулф, Рид исходил из взаимосвязанности творческой деятельности и вопросов общественного устройства, социальной и материальной справедливости. «Бесполезно уповать на появление в будущем великих творений искусства, – их не будет до тех пор, пока мы не придем к об-

щественному единению и социальной справедливости, и пока мертвящую власть машины не сменит свободная и радостная деятельность человека», — заявил он в своем последнем выступлении на Конгрессе культуры в Гаване в январе 1968 года за полгода до смерти. Звучит наивно в наш компьютерный век? Возможно. Однако, кто бросит камень в старого модерниста? Великого искусства до сих пор не видеть.

Творчество и индивидуальная свобода, искусство и социальная справедливость, демократия и личное счастье, — вот некоторые стороны идейной позиции Рида, которую он сам назвал «анархизмом». 6 марта 1915 года двадцатидвухлетний Рид пишет в своем «военном дневнике»: «Меня, видимо, не удовлетворяет современная Демократия. Безусловно, это прекрасный идеал в том смысле, что он все меряет практическим принципом: как сделать счастливыми возможно большее число людей? И все же он не предлагает стимулов для развития личности. Счастливым он, может кого-то и сделает, но уж благородным — точно нет. Даже для духовного супермена это фатальный путь. Разумеется, его проверкой "на вшивость" должно стать право каждого человека выбирать. Впрочем, судя по тем плодам, которые демократия уже принесла (например, акту о страховании), она отрицает право свободного выбора. Вероятно, причина моей неудовлетворенности в том, что в экономических вопросах я коммунист, а в вопросах этики — индивидуалист. Насколько совместимы эти убеждения?»

Ясно, что общего в них было мало, и, если в 1917 году Рид, как многие интеллектуалы-англичане, охотно зачис-

лял себя в коммунисты, то в 30–40-е годы он лишь укрепился в мысли о том, что коммунизм, как и фашизм, неизбежно порождает политическую диктатуру, и единственный выбор – дорога индивидуальной свободы и неупорядоченного опыта. В 1935 году он публикует памфлет «Суть коммунизма», где излагает взгляд на общественное устройство и собственность, созвучный трудам П. Кропоткина. Затем, в течение пятнадцати лет выходят, одна за другой, его работы о свободе: «Поэзия и анархизм» (Poetry and Anarchism, 1938), «Философия анархизма» (Philosophy of Anarchism, 1940), «Политика неapolитических» (The Politics of the Unpolitical, 1943) и «Экзистенциализм, марксизм и анархизм» (Existentialism, Marxism, and Anarchism, 1949). Все они написаны во время и после Гражданской войны в Испании, – Рид тогда много печатался в анархистских газетах «Испания и мир», «Мятеж», «Военный комментарий», «Свобода» и «Сейчас». Именно тогда Советы занесли его в черные списки анархистов, буржуазных идеалистов, – словом, врагов. Хотя членом анархистских групп или партий он никогда не был, и «анархизм» был скорее логическим развитием его модернистской эстетики. Вот как он объяснял в семьдесят с лишним лет свою приверженность анархии и порядку в последней написанной им книге «Кульг искренности» (The Cult of Sincerity, 1968): «Моя привычка соединять анархизм и порядок, философию борьбы и пацифизм, упорядоченность жизни и романтизм, с революцией в искусстве и литературе, это скандальный случай в глазах традиционного, точнее, конвенционального философа. Этот принцип потока, китсовское понятие "негатив-

ной способности" оправдывают все, что я написал, – все, до последнего выпада и последней защиты. Я ненавижу все до единой монолитные системы, все до одной логические категории, любые претензии на абсолютность и конечность. Каждый день нам светит новое солнце». И дальше: «Вы слышите? Теперь понятнее, чью речь развивали в своих знаменитых работах Поль де Ман и Жак Деррида».

Защита свободы принимала разные формы: от создания истории и эстетики модернистского искусства до творческого самоопределения. Он едва ли не первым из писателей своего поколения начал «собирать камни». В 1924 году он издал «Размышления» (Speculations) – собрание рукописей Т. Э. Хьюма (1883–1917), поэта, философа нового искусства, погибшего на фронте. А годом позже опубликовал подборку хьюмовских «Заметок о языке и стиле» (Notes on Language and Style). В 1931 году вышло его первое эссе о скульптуре Генри Мура, затем переработанное в книгу «Генри Мур: очерк жизни и творчества». В 1936-м он пишет эссе «Сюрреализм» и «Историю современного искусства». Одновременно, с 1920-х гг., Рид ищет свой путь в современном искусстве. Его работы тех лет хранят следы напряженного поиска. Для нас особенно интересны «чувство чести» – понятие, родившееся, по замечанию Пирса Пола Рида, еще в 1910 годы, и данное им определение романтизма. Вот как сам Рид объяснял, что такое «чувство чести»: «В какие-то мгновения иррациональное в человеке увлекает его в неведомую область отношений, – туда, где его поведение будет оцениваться по иной шкале. Для меня чувство чести – это толчок, побуждающий человека к иррациональному

поступку». В иррациональном начале видит Рид и суть романтизма: это «слово вмещает в себя инстинкт, интуицию, воображение и фантазию». Современное искусство, по его мнению, состоится лишь тогда, когда соединит иррациональное, т. е. романтическое, с реалистическим, или сознательным, началом. Это и есть, по Риду, искусство сюрреализма: «Самые основания разума, восприятие незамутненного интеллекта постоянно оспариваются творческой фантазией, воображением, миром иллюзии, который в той же степени реален, что и быстрота нашей мысли. Задача искусства состоит в том, чтоб примирить противоречия, заложенные в самой природе нашего опыта. Однако, искусство, следующее рациональным канонам, не в состоянии создать желанный синтез. Лишь то искусство, которое поднимается над действительностью, данной нам в сознании, лишь искусство трансцендентное и сюрреалистическое, может решить эту задачу. В этом факте заключено главное и неоспоримое оправдание романтического искусства, и я годами изо всех сил бьюсь над тем, чтобы прояснить эту простую истину».

Отсюда один шаг до его определения настоящей прозы: «Это короткая вещь, с напряженным действием, реалистическая и фантастическая, описательная и созерцательная одновременно. Не роман, но и не рассказ, и без психологии. Такую прозу еще называют "conte philosophique", или философской повестью, вслед за "Кандидом" Вольтера, — особенно, если в ней есть моральный или сатирический поворот. Впрочем, о философии предоставим судить читателю. Внешне такая вещь представляет собой воплощение

идеи, игру ума, описание случая, каприз фантазии. При очевидном интеллектуальном посыле в ней есть свежесть авторского стиля, блеск и точность воображения».

Как видим, у Риды был свой выношенный взгляд на прозу. Острый сюжет, идеологический «нерв» современности, философская подкладка, реализм в сочетании с фантастикой, – всю эту сложную механику Рид заставлял «крутиться» во имя того, что называл искусством «трансцендентным», «сюрреалистическим», задумывая его, как развитие того поэтического мироощущения, что находил у Блейка (недаром свои воспоминания назвал «Анналами невинности и опыта», вслед за «Песнями невинности» и «Песнями опыта» Блейка), в «Уолдене» Генри Торо и, особенно, в поэзии Вордсворта.

Многослойный опыт Риды – поэта, философа, искателя, ребенка – вобрал в себя его единственный роман-поэма «Зеленое дитя» (The Green Child, 1935).

Притом, что роман вызывает у читателя массу ассоциаций – литературных, исторических, прямых аналогов как будто нет. Приключенческий сюжет в духе Хаггарда, – уже на пятой странице герой вламывается в дом, спасая женщину от рук бандита, заставляющего ее пить кровь зарезанного ягненка, – неожиданно возвращается в прошлое, к событиям тридцатилетней давности, – созданию латиноамериканского Эльдorado, диктатуры одного идеалиста, а затем «ныряет» в фантастический подземный мир, населенный зелеными существами.

Английский роман идей? Да, если отталкиваться от убеждения Риды в том, что писатель глубоко связан со своим

временем. «Благое дело для художника», писал он в книге «Кульгт искренности», «постичь время, в которое он живет, только вот беда: постичь его иначе, чем всецело принадлежать ему, – невозможно».

Как книга «о времени и о себе» «Зеленое дитя» выражает общий неутешительный взгляд Рида на прошлое и настоящее европейской мысли и уклада жизни: они не обеспечивают свободы и полноты существования. Напротив, либо приводят человека к физическому насилию, как Коленшо, или политической диктатуре и изоляции, как д-ра Оливеро в его утопическом Ронкадоре, либо ведут его в тупик, загоняют, вопреки естественному ходу вещей, – как реку, которую Оливер помнил с детства, – под землю, в царство абстрактной иерархии, обезличенности и подчиненности правилам. Финал горький: самые бурные фантазии оборачиваются либо средневековым отшельничеством, либо политическим мавзолеем. Сцены «подземелья» читаются, как попытка предугадать, что ждет человечество впереди. Ничего радостного: личные связи не имеют больше значения, зачатие и рождение ребенка – целиком физиологический процесс; общество – соты с внутренней иерархией; пища – вегетарианская; пространство – ограничено; искусство сведено к кристаллографии, т. е. математике; эмоционального начала больше не существует. Само понятие Порядка, которому все и вся подчиняются в подземном мире, говорит о том, что главной ценностью здесь полагают абсолют, подчиненность низшего высшему, а чем это не фашизм?.. Если же принять подземный мир за некую утопию духа, аскезу мысли, то с таким толкованием плохо согласуется образ Веточки-Витэн, тянущейся к солнцу. Ес-

ли же главное содержание книги – мысль о первенстве опыта, и Витэн и Оливер – первопроходцы, сталкеры, искатели, паршивые овцы в своем стаде, то выходит, каждый из них открыл для себя другой мир. Но миры-то достойны ли? Отвечают ли их ожиданиям свободы и полноты бытия?

Впрочем, у романа есть и другая сторона – социально-политическая. Как делается революция? По Риду, находится случайный человек, образованный, зараженный идеалистическими представлениями о свободе. Его делают агентом, он готовит террористический акт и политический переворот. Судя по роману, не только все революции похожи, но все они похожи на диктаторские режимы – хотя бы тем, что, как в романе, берут свое начало в одном и том же месте: в храме. А как рождается диктатура? По Риду – она следствие самых лучших побуждений, заботы о благе миллионов простых граждан. Ирония книги в том, что наш герой все-таки создает утопическое государство, но счастья оно ему не приносит. Роман повествует о случайности, абсурдности и ограниченности политической деятельности в жизни отдельного человека. Риду не чужда свифтовская любовь к антиутопии: чего, например, стоит описание натурального хозяйства в изолированном от остального мира «счастливом» Ронкадоре! Другие детали, явно, предвосхищают Оруэлла: взять хотя бы то, что диктатора хоронят в мавзолее. Выходит, Россия не прочитала в свое время важную для нее книгу. Кстати, действие происходит в 1861 году, – знаменательная дата.

Впрочем, и политикой не исчерпывается философский замысел книги. Написанное в духе вольтеровского «Канди-

да», основанное на авантюрном сюжете (заметим, задолго до коммерчески выгодных проектов интеллектуалов-постмодернистов 1970–80-х годов!), «Зеленое дитя» описывает поиск человеком природной чистоты и свободы. Веточка, увлеченная желанием отыскать другие миры, любительница солнца, гибнет в мире людей-машин, людей-зверей (Коленшо). Оливеро, дойдя, кажется, до логического конца своей политической карьеры, создав идеальную диктатуру, тоже «гибнет», осознавая невозможность личного счастья. Получается, жизнь в существующих общественных формах невозможна, они приводят человека к гибели. Какова альтернатива? Жизнь в подземном мире оборачивается коллективным соитием, разлукой, одиночеством, аскезой, отшельничеством и окаменением. Эти две возможности – как две стороны медали современного существования: либо политическая карьера, либо индивидуальное самоопределение в искусстве или науке. Первая заканчивается диктатурой; вторая – потерей любви, монолитом порядка, мавзолеем кристаллов.

Но и это не все. «Зеленое дитя» – это модернистский роман-миф. Время действия то раздвигается до тридцати лет во второй части, то сжимается до двенадцати часов в первой, то уходит под конец в подземную «вечность». Роман повествует о зеленом ребенке, живущем в каждом из нас, – о брате и сестре, их разлуке, этих двух не встретившихся половинах «Я». В нем слышны отголоски модернистской, восходящей к Ницше, мечты о полноте существования, мужском и женском, андрогинном, слиянном и нераздельном «Я». Используя, а, может быть, и нет – кто знает? – ла-

тинскую христианскую легенду XII века о двух зеленых существах – брате и сестре, Рид создал свой миф, и его не объяснить, как писал Элиот в «Границах критики» (1956), источниками и вероятными параллелями. В главном, поэтическом смысле роман Герберта Рида продолжает вордсвортовскую тему природы, уединения, «сестры» – потаенного и сопричастного зеленому миру существования.

Пятнадцать лет назад я познакомилась с Пирсом Полом Ридом, сыном Герберта Рида, известным английским романистом и публицистом, взяв у него интервью для журнала "Вопросы литературы". Узнав о первом русском издании сочинений отца в "Б.С.Г.-ПРЕСС", Пирс Пол Рид откликнулся на мою просьбу прислать воспоминания о Герберте Риде. Ниже читатель найдет его биографический очерк "Герберт Рид".

Понятно желание сына быть предельно объективным и честным в оценке творчества отца, – ведь судя по «Зеленому дитя», Герберт Рид ориентировался на самые высокие достижения мировой культуры: Вольтера, Вордсворта, Торо. Насколько он стал своим в этом сообществе поэтов, судить читателю. Но трудно не заметить досаду, с которой сын Рида признает, что его отец в поэзии оказался слабее Т. С. Элиота. Напомню: получается, не дотянул до уровня Вордсворта, до уровня первого поэта столетия. Согласитесь, это даже не «гамбургский счет», это планка повыше. К досаде прямых потомков, к радости читательской встречи с великим деятелем искусства XX века.

Наталья Рейнгольд

Герберт Рид

Воспоминания Пирса Пола Рида*

Мой отец, Герберт Рид, родился 4 декабря 1893 года в местечке Маскоутс Грейндж в Норт Райдинге (графство Йоркшир). Он был первенцем в семье потомственных фермеров, которые не одно столетие возделывали окоем йоркширских земель, известный под названием «Райдейл». И кто знает, как сложилась бы судьба Герберта Рида, – не исключено, что он продолжил бы семейное дело и тоже стал земледельцем, если б не безвременная гибель в 1902 году его отца, ставшего жертвой несчастного случая. Поскольку покойный был арендатором, но не владельцем фермы, члены семьи не имели права на недвижимость. Хотя хозяйство продали, а мой отец, пожив какое-то время у родственников по соседству, отправился в сиротский приют в Галифаксе, – ему было тогда девять лет.

Позднее он напишет в автобиографических заметках:

«Обстановка была спартанская: круглый год умывались только холодной водой, мясо и овощи – раз в день, осталь-

*Биографический очерк Пирса Пола Рида представляет собой вступительную статью к переизданию 1996 г. книги Герберта Рида «Невинный взор», любезно предоставленную автором издательству для опубликования на русском языке. (Здесь и далее под звездочкой примечания переводчика).

ное время – молоко и хлеб, чаще черствый. Держали нас в черном теле, но притеснять не притесняли, и воспитывали в религиозном духе. Ничего лишнего – ни отдельных комнат, ни читальни. Если кому-то из мальчиков хотелось почитать в свободное от занятий время, ему приходилось сидеть над книгой среди неопишемого гвалта, царившего в общей игровой комнате: отсюда, видимо, идет моя редкая способность сосредоточиваться где и когда угодно¹.

Эта выучка сослужила ему потом хорошую службу.

Выйдя из приюта в шестнадцать лет, он устроился на работу в Лидсе в один из банков, не прерывая учебы в вечерней школе и продолжая самообразование в местной публичной библиотеке. Читал он запоем, и вот тогда-то под влиянием Ницше заменил христианскую веру идеалом человеческого совершенства, который назвал «чувством чести».

В 1912 году он поступает в университет в Лидсе, а два года спустя, записывается добровольцем в ряды Грин Хауардз²: началась война с Германией. Следующие четыре года стали для него настоящей школой жизни. Во-первых, он прошел всю войну и выжил, практически без единой царапины (единственная рана – следствие неправильного обращения с пистолетом Вери), и это обстоятельство внушило ему мысль о том, что Провидение сохранило его для какой-то особой миссии. Во-вторых, две награды за храбрость – D. S. O. и M. C.* – укрепили его чувство уверенности в себе. Кроме того, у него оставалось время читать и

¹ Герберт Рид, «Анналы невинности и опыта». (Здесь и далее под арабской цифрой примечания автора).

² 19-й Йоркширский полк.

** Медаль за воинскую службу и боевой крест.

писать, и свой первый сборник стихов он опубликовал, будучи еще «в погонах».

Демобилизовавшись в 1918 году, он не стал восстанавливаться в университете, а пошел служить чиновником, сначала в Торговую Палату, а затем в Казначейство. В 1919 году он женился на Эвелин Рофф, учительнице из Йоркшира, с которой познакомился в бытность свою студентом в Лидсе.

Вскоре расплывчатые честолюбивые планы молодого йоркширца, которые сам он определил как поиск чести, обрели конкретные очертания: он с упоением окунулся в литературную атмосферу Лондона, подружившись с Уиндемом Льюисом, Фордом Мэдоксом Фордом, братьями и сестрой Ситуэлл и Т. С. Элиотом. Ведение протоколов на заседаниях казначейства и поэтическое слово – занятия мало совместимые, и, ясно понимая это, он перешел в 1922 году на более подходящее место в музей Виктории и Альберта. Это продвижение сулило новые возможности. Он уже был известен в литературных кругах как поэт и критик, а теперь начал больше писать об искусстве, и в 1920-е годы опубликовал ряд работ об английском гончарном деле, витражах и стаффордширской игрушке. Материала, который он включил в эссе «Значение искусства», напечатанное в «Листенер», хватило на серию статей, изданную затем отдельной книгой.

В 1931 году, благодаря приобретенной Ридом репутации известного искусствоведа, ему предложили возглавить кафедру искусств в Эдинбургском университете. Вообще говоря, это было лестное предложение для человека, занимавшегося, в основном, самообразованием – так сказать, самоучки. Впрочем, у самого счастливчика были другие соображения:

он согласился занять должность университетского преподавателя и заведующего кафедрой, надеясь, что у него будут развязаны руки для творчества. Но вышло наоборот: возвращение в застойную провинцию обострило состояние безысходности, в котором он тогда пребывал, и окончательно расстроило и без того не сложившийся брак с Эвелин Рофф. «Я настолько подавлен окружающим мещанством и академическим бытом», жаловался он в письме Ричарду Чёрчу, «что уже сейчас готов бросить работу, лучше которой, кажется, и желать нельзя, и бежать, куда глаза глядят»¹.

Летом 1933 года он уехал из Эдинбурга вместе с моей матерью, Маргарет Людвиг, которая в том же университете преподавала музыку. Она родилась и выросла в Абердине в обстановке, как две капли воды похожей на душный мирок, окружавший отца в Лидсе, с той лишь разницей, что ее родители происходили из семей немецких переселенцев, осевших в Шотландии в девятнадцатом веке. Возможно, ее предки бежали от *kulturkampf*², которую Бисмарк проводил в Пруссии, и потом постепенно пустили корни среди местных шотландцев, ирландцев и итальянцев.

Убежавшая из Эдинбурга молодая пара какое-то время снимала квартиру в Хэмстеде, а отец даже квартировал в мастерской Генри Мура³, творчество которого он воспел в журнале «Листенер» еще до своего отъезда в Эдинбург в 1931 году. То было бурное время: в столичном кругу художников кипела деятельность, в воздухе носились новые

¹ Цит. по книге Джеймса Кинга «Последний из модернистов: биография Герберта Рида», стр. 112.

² Культурная чистка (с нем.)

³ Генри Мур (1898 – 1986), выдающийся английский скульптор XX в.

идеи, и мой отец находился в самой гуще творческого процесса. Он пишет, одну за другой, две лучшие свои прозаические книжки: лирические воспоминания о детстве «Невинный взор» и роман-поэму «Зеленое дитя». В обеих отчетливо звучит мотив воображаемого возвращения «к корням» Райдейла, и, если сопоставить его с городской, божественной жизнью отца тех лет, то контраст получится поразительный.

Отныне в кругу его друзей не только поэты, но и художники, причем, наряду с Генри Муром, Беном Николсоном и Барбарой Хепуорт*, есть и беженцы из нацистской Германии, — например, Вальтер Гропиус и Наум Габо**. И он — их преданный сторонник, выступивший в книге «Искусство здесь и сейчас» с философским обоснованием модернистского направления.

Сегодня нам даже трудно представить, что когда-то Истэблшмент громил и поносил творчество кубистов, скажем, Брака и Пикассо, или произведения сюрреалистов — Эрнста и Маргитта. Да, их в конечном итоге признали, и в числе самых выдающихся художников того времени стали называть Бена Николсона и такого скульптора, как Генри Мур, и в этом признании, безусловно, есть заслуга Герберта Рида, критика просвещенного и терпимого. Порой даже кажется, что, поняв, какой крестовый поход уготовила ему судьба в качестве жизненного предназначения, он, наступая на горло собственной песне, то бишь творчества, и не

*Бен Николсон (1894–1982), английский художник-абстракционист; Барбара Хепуорт (1903–1975), английский скульптор.

**Наум Габо (1890–1977), американский скульптор, выходец из России; Вальтер Гропиус (1883–1969), немецкий архитектор.

щадя пера своего, встал на защиту правого дела, умело командуя всей этой разношерстной публикой, – кубистами, экспрессионистами, сюрреалистами, абстракционистами и конструктивистами: главный бой их маленькая армия дала на выставке сюрреалистов в 1936 году.

При этом ему все время приходилось думать о хлебе насущном: сначала на посту редактора «Бэрлингтон мэгэзин», затем в качестве внутреннего рецензента издательства Хайнеманн, и, наконец, в должности директора издательства «Раутлидж энд Киген Пол»^{*}. Согревало ему душу одно: искусство, которое он воспринимал эсхатологически как единственное средство спасения человечества. На эту тему у него есть эссе «Воспитание свободных людей»: в нем изложены основные идеи, выраженные в книге «Познавать через искусство», которая, по мнению Генри Мура, «изменила самые основы нашей образовательной системы», «исподволь... способствовала появлению многих талантливых художников, благодаря творчеству которых современное английское искусство перестало быть островным, «местечковым»¹.

Опять же, при всей нашей озабоченности состоянием окружающей среды, мы сегодня гораздо спокойнее относимся к общественным проблемам. В 1930-е же годы все воспринималось иначе: гитлеровская и сталинская диктатуры казались незыблемыми; в Италии правил фашист-ти-

^{*} Раутлидж энд Киген Пол – издательство, специализирующееся на выпуске научной и учебной литературы.

¹ Из выступления на Би-Би-Си 12 июня 1968 г. Опубликовано позднее в сборнике материалов конференции, посвященной памяти Герберта Рида, «Герберт Рид: Мемориальный симпозиум», под ред. Робина Скелтона (изд-во Мэттьюэн, 1970).

ран, в Испании установилась автократия *caudillo*, вышедшего победителем в гражданской войне. В Европе привычным делом стали ужасы и пытки, а после депрессии начала 30-х годов даже в демократических странах капитализм воспринимали как пережиток прошлого.

Об этом полезно помнить, когда читаешь эссе Рида «Философия анархизма», написанное в 1940 году. Тогда многие – не только мой отец – искали систему общественного устройства, которая могла бы обеспечить счастье миллионов простых граждан. В создавшейся ситуации, когда он ясно – возможно, слишком ясно, – осознавал отрицательные стороны фашизма и коммунизма, анархизм представлялся ему единственным выходом. Питали его анархистские идеи, несомненно, те детские воспоминания о маленькой независимой коммуне на ферме Маскоутс, где он жил до девяти лет. Ни экономикой, ни историей он, по большому счету, никогда не интересовался и систематически их не изучал, поэтому не находил никакого проку в промышленно развитой экономике – ни в настоящем, ни в будущем. Город его пугал – недаром в начале войны он уехал из Лондона в окрестности Биконсфилда, где еще в 1920-е построил небольшой коттедж, а в 1949 году вообще переехал в Йоркшир и поселился в старом пасторском доме, что в двух-трех милях от фермы, где родился.

Сам он объяснял переезд не только ностальгией по йоркширским корням, но и желанием уйти от распадающейся цивилизации, «обреченной на самоуничтожение», причем себе он рисовался кельтским монахом-отшельником, который, дабы избежать варварских нашествий периода сред-

невековья, удаляется от мира в монастырь вроде Линдисферна^{*}:

«Загородные дома – те же крохотные монастыри, размером с Уитби^{**} во времена Св. Хильды. Среди англичан и сегодня найдется немало тех, кто отдал бы все доступные им радости мира за возможность пожить несколько лет в этих зеленых кущах, напоминающих оазисы посреди пустыни. Впрочем, и это благо ненадолго. Прошлое растаяло, как мираж, а мы еще остаемся – последние из могикан побежденной цивилизации»¹.

Похоже, его мало беспокоило то, как воспримут его возвращение в Райдейл родные и знакомые. Возможно, потому, что из многочисленной родни времен его детства – у матери было девять братьев и сестер, – в живых оставались единицы. Рассказывают, что как-то на вопрос местного лавочника, однофамильца его матери, – мол, не двоюродные ли мы братья? – мой отец ответил вопросом: «И что с того?» Сказал, как отрезал. Маститый критик-искусствовед не желал больше иметь ничего общего с фермерами, мельниками и лавочниками из тех мест, откуда родом была его семья.

Одиночество его, видимо, не смущало: раз в две недели он ездил в Лондон навестить своих давних друзей. И потом, у него была любимая семья, в жизни которой он, правда, почти не принимал участия. Да, он был терпелив, терпим и добр с нами, своими детьми от второго брака, только поче-

^{*}Монастырь на северо-восточном побережье графства Йоркшир, вблизи границы с Шотландией, основан в 8 в. н. э.

^{**}Раннесредневековый монастырь (8 в. н. э.) к северо-востоку от города Йорк

¹Из книги Г. Рида «Противоречивый опыт», стр. 290.

му-то никогда не выказывал своей отцовской привязанности, точно его сдерживало что-то, как отца констановского Адольфа. Он чувствовал себя в своей тарелке лишь за письменным столом, – а стоило оторвать его от занятий, как он сразу терялся. Единственным видом отдыха для него были прогулки; праздники он терпеть не мог, – изнывал от безделья.

Впечатления о родителях, основанные исключительно на воспоминаниях, никогда не бывают точными, – отец сам отмечал это в рецензии на воспоминания Джулиана Готорна об отце, Натаниэле Готорне*: «Конечно, мы отдаем должное сыновним впечатлениям о личности отца, но при этом не забываем, что человек нигде так не скрытничает, как в семейном кругу, и физиономия, которая запечатлевается в памяти окружающих, чаще всего не совпадает с тем образом, что человек носит в самом себе»¹.

Отец не вел дневника и избегал признаний личного свойства, но, несмотря на это, в его критических сочинениях обнаруживаются следы его темперамента, личности. Так, например, он заявлял, что сдержанность, – черта, которую он не мог за собой не замечать, – свойственна всем уроженцам Йоркшира:

«Как у всех северян, у йоркширцев богатое воображение, что, казалось бы, должно сделать их мистиками. Слава богу, от этой напасти их уберегают трезвая голова, практическая жилка и способность зрительно представлять происходя-

* Натаниэль Готорн (1804–1864), американский романист и автор рассказов.

¹ Г. Рид, «Литературно-критические эссе», стр. 131.

щее. Благодаря этим же качествам, они всегда действуют осмотрительно и никогда не остаются в накладе. И все же самое поразительное их свойство состоит не в этом, а в умении скрывать свои чувства. Не подавлять, не гасить, а именно скрывать. Они испытывают те же эмоции, что и любой нормальный человек, возможно, даже более острые и сильные, только весь этот накал остужает их поистине твердокаменная сдержанность»¹.

Он всю жизнь сознательно развивал в себе это качество – легендарное молчание Герберта Рида, в котором было ровно столько же врожденной сдержанности, сколько чувства самодисциплины:

«Тот, кто без умолку говорит, никогда не станет хорошо или ясно писать. В писательском искусстве главное – это внутренняя сосредоточенность, умение, что называется, собрать энергию "в кулак", а при безудержном потоке речи это просто невозможно, – все рассыпается у тебя под пером. Ведь хороший писатель держит все в буквальном смысле на кончике пера. Роящиеся в голове мысли в стройном порядке стекают с этого тонкого острия на бумажный лист. Но стоит писателю отвлечься на болтовню, как напряжение спадает, кончик пера дрожит. Мысли, высказанные вслух, подобны тлеющим угольям: развеи их по ветру и останется одна зола»².

Звучит жестко, зато проясняет источник его поразительного универсализма и масштабности его литературного труда. Дело даже не в количестве написанных им книг по

¹Г. Рид, «Вордсворт», стр. 37.

²Г. Рид, «Разноцветное пальто», стр. 115.

искусству, литературе и философии, – оно огромно, – и не в обширной переписке, которую он вел, – она составляет десятки томов, а в том, что круг его чтения был попросту безграничен: иначе он не сумел бы составить такие антологии, как «Лондонский сборник английской поэзии», «Лондонскую хрестоматию английской прозы», а также «Стиль английской прозы» – руководство для начинающего писателя.

Бывало, он жаловался, что когда-то отобранные им самим образцы больше его не радуют:

«Людям чаще всего удастся разграничивать два вида чтения: чтение как хобби и чтение ради практической пользы. Многим удастся в течение всей жизни поддерживать это равновесие, и, даже если они его утрачивают, чтение, как правило, остается частью их досуга. Профессиональный же литератор оказывается в жалком положении заложника собственного дела: что бы он ни читал, должно лить воду на его мельницу, и, чем дальше, тем все реже может он позволить себе прочитать книгу просто ради удовольствия»¹.

Неудивительно, что многие его книги – это плод литературного заказа: он писал рецензии для «Таймс литерари сапплимент», искусствоведческие статьи (например, «О значении искусства») – для «Листенер»; часто его просили написать цикл лекций на определенную тему.

Может показаться, что только чужое творчество питало его деятельность Зоила, но это не так. Он был убежден, – то было его кредо писателя и критика, – что «вся наша жизнь есть отзвук наших самых первых детских ощущений, и свою

¹Г. Рид, «Разноцветное пальто», стр. 305.

личность, все наше духовное бытие мы впоследствии сознательно строим посредством изменения и сочетания тех первоначальных реакций»¹. Познакомившись с трудами Фрейда, и особенно Юнга, он заговорил о возможности применения идей психоанализа в литературной критике:

«Произведение искусства... имеет соотнесенность с каждой областью сознания. Оно черпает энергию, свою безотчетную и таинственную власть из id, которое следует полагать источником так называемого "вдохновения". Связанность формы и цельность придает ему ego, и, в конечном итоге, ego всегда можно увязать с теми идеологическими построениями и духовными устремлениями, которые являются своеобразным порождением superego... Важно отметить, что, согласно психоанализу, художник изначально тяготеет к неврозу, и только занятия искусством как бы не дают осуществиться фатальной предрасположенности. Именно искусство, творчество возвращают художника к реальности. По-моему, это проясняет возможную положительную роль психоанализа в работе критика: она состоит в утверждении реальности посредством сублимирования любой изначальной предрасположенности к неврозу. Психоаналитик, по определению, должен уметь разграничивать реальное и невротическое начала в художественном или квази-художественном произведении, чем нам и полезен»².

Рид использовал психоаналитический подход в своих эссе о Вордсворте и, особенно, Шелли. Читателю же, в свою

¹Г. Рид, «Невинный взор».

²Г. Рид, «Сборник литературно-критических эссе» стр. 137–140.

очередь, интересно применить психоанализ к самому автору, увлеченному психоанализом.

С отцом это не трудно. Он любит отождествлять себя с художником, чьи обстоятельства жизни ему близки:

«Так сложилась детская судьба Смоллетта*, что эта чувствительная и гордая натура должна была постоянно укреплять в себе дух самостоятельности. Ребенком он лишился отца, и, хотя семейный достаток позволил его родным дать ему достойное образование, оно не соответствовало его запросам. В пятнадцать лет его отдали в ученики хирургу, но уже тогда было ясно, что медицина – не его удел. Его влекла к себе литература, ему были интересны гуманитарные дисциплины, причем ни то, ни другое не вызывало у него малейшей восторженности, – дальше мы это увидим. Я хочу сказать, Смоллетт никогда не рассматривал интеллектуальный успех как компенсацию физических недостатков, – скорее он, как Пете, видел в нем естественное доказательство гениальности»¹.

А его описание северного темперамента Вордсворта, которое я привел выше, – что это, как не оправдание собственной «твердокаменной сдержанности»?

«Бесспорно, такая "броня" – наилучшее средство защиты; история знает немало тому примеров. Да и в семейной жизни она тоже спасает: с ней можно по-деловому справляться со всей этой суетой – рождением детей, смертью родственников, свадьбами – словом, с грозящим задавить тебя бытом»².

*Тобиас Джордж Смоллетт (1721–1771) – английский поэт, романист и переводчик.

¹«Литературно-критические эссе», стр. 100.

²Г. Рид, «Вордсворт», стр. 37.

Сам он, надо сказать, умел по-деловому справляться с житейскими невзгодами: это видно по тому, как он быстро, без долгой суеты, похоронил мать и сбежал от первой жены.

Возникает вопрос: не из желания ли оправдать свои поступки стремился он возвысить искусство, представив его несравненным благом? В «Искусстве здесь и сейчас» недвусмысленно дается понять, что пророком современного искусства Гюген стал потому, что сумел целиком посвятить себя живописи, хотя это стоило ему работы в банке, «и ему пришлось оставить жену и детей». Другой литературный пример – Стерн*, – между прочим, тоже уроженец Йоркшира, известен тем, что был не в ладах с женой. Но самой явной попыткой отца оправдаться стала его книга «В защиту Шелли».

О своем неприязненном отношении к поэзии Шелли не раз высказывался Т. С. Элиот, объясняя его моральными огрехами поэта, в частности, тем, как он обошелся со своей женой Хэрриет, когда решил бросить ее ради Мэри Годвин**. Мой же отец, наоборот, отождествлял себя с Шелли: во всяком случае, письмо, которое тот написал Хэрриет в октябре 1814 года, вполне могло выйти из-под пера моего отца и быть адресовано его первой жене Эвелин в июне 1933 года:

«Я сошелся с другой, ты мне больше не жена. Если я причинил тебе боль, то совершенно невинно и нечаянно: мне с самого начала не следовало связывать с тобой свою судь-

*Лоренс Стерн (1713–1768) – английский прозаик, автор новаторских романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие», служивший священником в йоркширском приходе.

**Перси Биши Шелли (1792–1822), английский поэт-романтик; Хэрриет Уэстбрук (1795–1816), первая жена П. Б. Шелли; Мэри Годвин, в замужестве Шелли (1797–1851), дочь У. Годвина и Мэри Уоллстоункрафт, вторая жена П. Б. Шелли.

бу. В любом случае страданий – и не маленьких – было бы не избежать»¹.

В лице Шелли он защищал не только поэта, но и просто-го смертного, – это очевидно:

«Возможно, Хэрриет стала бы ангелом-хранителем домашнего очага, добропорядочной женой и верным спутником жизни. А, может, превратилась бы в истеричку, капризную, назойливую, страдающую маниакально-депрессивным синдромом, бесстрастную, бездушную. Так или иначе, жизнь сыграла с ними обоими злую шутку... Оказавшись поставленным перед трудным выбором, Шелли, конечно, мог бы сохранить лицо и заслужить тем самым одобрение добропорядочных потомков; но еще неизвестно, чем бы все кончилось для него и Хэрриет. Он выбрал другое: путь личной свободы, – и следовал ему по велению души и логике своей философии. Он был тут же осужден и оклеветан на все последующие сто с лишним лет. Зато, – не забудем, – именно благодаря этому выбору, он не исписался раньше времени, а, наоборот, интеллектуально возмужал и обрел как поэт новое дыхание»².

К великому несчастью, у моего отца все вышло не так: с годами обнаружилось, что новое поэтическое дыхание, которое он обрел, удрав из Эдинбурга, не обернулось, увы, всплеском гениальности. Да, разумеется, «Невинный взор» и «Зеленое дитя» – это признанные шедевры малой формы. Да, среди читателей найдется немало поклонников его поэзии, особенно таких стихотворений, как «Мир внутри вой-

¹Герберт Рид, «В защиту Шелли», стр. 37.

²Там же, стр. 78-79.

ны» и «Лунная ферма». Но годы шли, и, чем дальше, тем все больше поэта в нем заслонял критик-искусствовед, специалист по философии искусства и еще, – его гениальный соперник, Т. С. Элиот.

Он и сам видел, куда все идет, но изменить ход событий был не в силах. В своей личной жизни он уже сделал главный выбор, – купил загородный особняк, определил детей в частные привилегированные школы: теперь нужно было «отрабатывать» репутацию апостола нового искусства. Разумеется, не все писалось им на заказ, – случалось, и он был свободен в выборе темы: так, лекции в Гарварде, куда его пригласили прочесть курс по современному искусству, подтолкнули его к размышлениям о природе искусства, и в итоге сложилась книга «Знак и идея». Но на свою беду, он стал жертвой не только падких на знаменитостей издателей, но и настырных дельцов от искусства, буквально не дававших ему прохода просьбами написать вступительную статью к каталогу работ. В итоге, как ни горько об этом писать, но ничего не поделаешь, правду не скроешь, – труды его сильно потеряли в весе: достаточно сравнить такую книгу, как «Разноцветное пальто», которая целыми страницами читается как художественное произведение, с его же поздним «Письмом к молодому живописцу», в котором что ни страница, то – «вода».

Сложнее вопрос с Элиотом. По-человечески ситуация понятна: человек сделал ставку на художественную ценность своих произведений, и ему трудно признать, что «по гамбургскому счету» они уступают творчеству его собрата по перу. «Мне суждено родиться рядом с могучим дубом»,

написал он в стихотворении «Плач Лу Юня», «... когда-нибудь дуб рухнет/, но буду ль погребен под ним я /, Или, напротив, увижу свет/, Кто ж знает». И потом, они с Элиотом были не просто соперниками по поэтическому цеху: они находились на разных идейных полюсах. Элиот исповедовал классицизм, а мой отец – романтизм. Первый был христианином, верующим, второй – убежденным агностиком.

Я не хочу сказать, что отец развивал определенные идеи, так сказать, в противовес Элиоту, но совершенно очевидно, что именно обращение Элиота в христианскую веру навсегда закрыло этот путь для моего отца. Ребенком он воспитывался в англиканской вере, а потом, когда поселился в Лидсе, пережил духовный кризис, потерял веру в Бога, чем страшно расстроил умиравшую мать. В его отношении к вере проскальзывает нотка интеллектуального высокомерия:

«Естественно, научные изыскания повлияли на мой склад ума, они во многом его сформировали, поэтому я не перестаю удивляться людям, которые, зная сравнительную историю религий, по-прежнему сохраняют наивную веру в догматы той или иной секты»¹.

У сына-католика, каковым являюсь я, эта позиция вызывает те же вопросы, что в свое время поставил в «Даблин Ревью» Роберт Спейт:

«Как могло получиться, что такой исключительно эрудированный и тонкий, начитанный и просвещенный в вопросах религии человек, как Герберт Рид, ищет обоснова-

¹ Герберт Рид, «Анналы невинности и опыта», стр. 106.

ние своего агностицизма в области сравнительной религии? Полагаю, за ответом далеко ходить не надо. Он просто никогда не сравнивал. Ни разу за всю свою жизнь он не задался вопросом о том, становился ли когда-нибудь Бог человеком; восставал ли хоть раз человек из мертвых; и, если восставал, не был ли он и вправду Богом. А ведь в ответах на эти вопросы и состоит истина христианской веры и постулаты церкви»¹.

Только мне кажется, в неверии моего отца есть и что-то скрытое, парадоксальное и, в конце концов, трагическое. Ведь отвергнутое им христианство и сделало его тем мягким, миролюбивым человеком, каким мы его знали, но оно же и породило в нем сильнейший комплекс. Он настолько привык подавлять в себе малейшие проявления зла, что он и в других людях зла не видел и не предполагал. Это не только окрасило его собственное отношение к религии, но и сказалось на его творчестве. «В конечном итоге», писал Стивен Спендер в одной из рецензий на «Анналы невинности и опыта», «м-р Рид действительно романтик, — он не верит в существование зла и не допускает мысли о необходимости сдерживающего начала. Его философия анархизма и эстетические теории основаны на воззрениях Руссо. Вполне возможно, именно отказом поверить в существование зла объясняются худосочность его поэзии и бестелесность взгляда на искусство. При любых доводах "за" и "против", именно те писатели, для которых существование зла несомненно, и умеют создавать полнокровные характеры, и они же, как правило, предметно видят мир. Писатели же,

¹ «Даблин Ревью».

для которых зло не существует, склоняются к абстракционизму, бестелесности и прозрачности»¹.

Другими словами, христианское воспитание, полученное в Райдейле, оказалось сильной прививкой: мало того, что оно посеяло в нем разные запреты, так оно еще превратило его в добрейшего и совестливейшего человека, который, посвятив свою жизнь искусству, так и не осуществился как художник. Иногда кажется, что он страшился искуса, без которого творчество немыслимо, и не желал признавать силу первородного греха, ибо в его картине мироздания не было места Богу, а значит, не было и возможности восторжествовать добру.

«Вот образ великой и благородной жизни», – процитировал он из книги Яспера «Одним трагическим жить нельзя», вписав эти слова в качестве эпиграфа в свой экземпляр «Анналов невинности и опыта». «Принять изначальную двойственность проявлений правды и сохранить, вопреки всему, ее светоносный облик; не дрогнуть, когда под ногами зыбко; уметь безгранично любить и надеяться». Увы, самого его в последние пятнадцать лет жизни отнюдь не спасало от растущего пессимизма умение принимать двойственность проявлений правды. Точно так же, как бегство из Эдинбурга с новой женой не открыло в его душе шлюзы поэтического вдохновения, так и возвращение его к йоркширским корням в 1949 году не высвободило, против ожиданий, духовную энергию. Конечно, у него появилось укрытие, где он мог спокойно развивать свои эстетические идеи, но оценить его эстети-

¹ «Нью Стейтсмен», январь 1942 г.

ку по достоинству могли немногие соотечественники: в ней слишком много от Юнга, – философа, мало популярного в Англии.

Теперь и неверие в Бога не внушало ему былой уверенности:

Вначале меня растирало от собственного

одинокчества

Мне не нужна была поддержка

Хватаясь за мизинец Богов

Я ликовал: Бог умер.

После

Уверенность пропала.¹

Похоже, к концу жизни он разочаровался в гуманизме, который исповедовал в молодости. Современное искусство не оправдало его надежд: ключа к разгадке жизни он так и не нашел. Он вновь обратился к вопросу существования Бога. «Неужели я страшусь последней истины?», – спрашивал он в своей последней книге «Култ искренности»: «...возможно, я так делал всю жизнь...Сколько себя помню, я находил больше удовлетворения в творчестве художников, доказывающих, что Бог жив, нежели тех, кто отрицает Господа... Я по-прежнему пребываю в сомнении – так сказать, "в ожидании и служении Господу", с тем, видно, и умру»².

В самом конце войны, – тогда он еще жил в пригороде Лондона, – он написал короткое стихотворение «Плач изгоя»:

¹ «Сборник стихотворений», стр. 204.

² Герберт Рид, «Култ искренности», стр. 34.

Герберт Рид

*Я провожу в трудах часы и дни
Там, где земля тоща, а люди скуты;
Увидеть вновь отцовский кров
И умереть в Райдейле, – дай мне, Отче!*

Бог, которому он служил, внял его молитве. Он умер в Стоунгрейве, в полутора милях к югу от реки Рай 12 июня 1968 года и был похоронен в Кёркдейле, где когда-то молился ребенком.

*Пирс Пол Рид,
Стоунгрейв, Северный
Йоркшир, 1996*

Зеленое дитя

Р о м а н

Часть первая

Президента Оливеро убили осенью 1861 года, и в мире это событие восприняли как очередной акт насилия, типичный для латиноамериканской политики. «Убит президент Оливеро!» – кричали заголовки газет. И что же? Прошли сутки, и на следующий день об этом событии уже никто не помнил, если не считать промелькнувшего сообщения о том, что при поддержке военных сформировано временное правительство генерала Итурбида. Тем временем президент Оливеро, самодично инсценировавший это убийство, как ни в чем не бывало, плыл в Европу. В пути он отпустил бороду.

В испанском порту, где он сошел на берег, на него никто не обратил внимания: мало ли возвращается из Южной Америки эмигрантов, прокопченных на солнце, заросших щетиной после нескольких лет жизни в пампасах? Впрочем, он не

Тогда на родину

собирался задерживаться в Испании. Он возвращался домой, на родину, в Англию: там прошло его детство, хотя на вид он был вылитый кабальеро, — говорил и даже думал по-испански, точно это был его родной язык. Как никак, тридцать лет минуло со времени его поспешного отъезда — целая жизнь! За эти долгие годы события детства отошли далеко-далеко и по прошествии лет виделись яркой разноцветной миниатюрой — так, глядя в телескоп с обратного конца, видишь уменьшенный, с пяточок, пейзаж. Порой его так тянуло домой, что, казалось, больше нет сил сопротивляться чувству ностальгии; но потом сомнения брали верх, — он боялся обмануться в своих ожиданиях, — и возвращение опять откладывалось. Так, то сомневаясь и отступая, то вновь загораясь желанием и ища предлог, чтоб не поддаться тоске, он медленно приближался к Англии. Где бы он ни останавливался, продвигаясь на север, — в Испании ли, Провансе, Швейцарии или в Париже, — он прислушивался к себе: не изменило ли ему чувство реальности? Впрочем, едва ли это слово — реальность — точно выражало то двойственное состояние, в котором он находился. Одно дело — жадно упиваться яркими красками окружающего мира, испытывая желание протянуть руку и ощутить под ладонью шершавую поверхность предмета, любоваться живописными городами, лицами людей, очертаниями гор и небом, наслаждаться

ся едой и вином, вчитываться в слово, случайно купленную газету, ловить обрывок музыкальной фразы. И совсем другое – погрузиться в созерцание полузабытого пейзажа, этой яркой хрустальной точки в дальнем темном конце длинного коридора памяти. Он с таким успехом и так долго упражнялся в искусстве забывать, что теперь с трудом постигал сложную науку помнить. Оказалось, что первое и главное правило состоит в полном отказе от сознательных усилий вспомнить прошлое. Ведь все настолько самобытно – событие ли, место, где оно произошло, – что, не поместив их во времени, не вспомнишь. А как спустя тридцать лет восстановить чувство времени? Наоборот, единственным желанием Оливеро всегда было освободиться от времени и обрести то состояние бесконечности, которое он называл про себя «божественным проявлением сущего». Именно она, эта самая суть, призывала его теперь вернуться в те места, где его личность впервые обрела свободу, причем обстоятельства, сопровождавшие освобождение, были настолько исключительны, что на долгие годы вперед определили его жизнь.

Добравшись до Англии, он больше не мешкал: сразу направился в родную деревню. Тридцать лет назад он уходил оттуда пешком – тогда ему целых сорок миль* пришлось топать до ближайшей железнодорожной линии. А теперь ветка протянута

почти до самой деревни. Поезд отправляется с узловой станции, петляет среди холмов, останавливается на каждом полустанке, иногда подолгу ждет – пока прицепят вагоны со скотом или грузами. На Оливеро – точнее, Оливере, как его звали на родине много лет назад, – было то же одеяние, в котором он вернулся из Южной Америки: черный плащ и широкополое сомбреро; конечно, на фоне сельских фермеров и их жен, которые время от времени садились в поезд и ехали вместе с ним часть пути, он выглядел белой вороной, вернее, черным вороном. Всю дорогу он молча сидел в углу купе, смотрел в окно, подмечая перемены, каких немало набежало за тридцать лет. И только к вечеру, как ему показалось, различил что-то смутно знакомое в пейзаже за окном: с каким-то странным комком в горле узнал он линию гор, лесистые склоны, прямоугольные башни церкви и один-два дома на отшибе. И все же до конца принять за родные места эти поселки и полустанки с хозяйственными постройками он не мог. Хорошо еще, что его родная деревня находилась чуть в стороне от железнодорожной станции: не готов он был одним махом окунуться в прошлое. Он оставил сумку на станции и стал ждать, пока пройдут все сошедшие с поезда пассажиры. Наконец, последний путник скрылся на дороге, ведущей в деревню, и тогда он медленно зашагал ему вослед, опустив голову и стараясь не

глядеть по сторонам, словно боялся, что один вид знакомых окрестностей выбьет его из колеи. Вот пошли первые жилые дома. Смеркалось.

Родная деревня Оливеро – две улицы, сходящиеся на рыночной площади. Вдоль дороги, по которой он шел, бежала речка, по ту сторону ее виднелись дома: подойти к ним можно было, только перейдя через речку, – в одном месте по широкой доске, в другом по деревянному мостику с перилами, а кое-где просто по камешкам. У рыночной площади речка резко сворачивала вправо, и дорога, повторяя ее изгиб, тоже делала правый поворот. В этом самом месте, в излучине реки, приютилось несколько кленов: живописнейшая картина, скажу я вам, особенно если смотреть вдоль дороги: по одну руку стоят старые богадельни, по другую шумят клены, да течет река, наполовину скрытая белой стеной ратуши. Краем глаза Оливеро заметил: деревья стали выше, тени гуще, но отвлекаться на воспоминания не стал, – решительно пересек рыночную площадь, зашел в гостиницу, снял комнату и послал за своей сумкой на станцию.

Отдав распоряжения, он вышел на площадь, посидеть на скамейке подле каменного креста. В окнах коттеджей светились огни, кругом было тихо – ни души, разве что редкий гость постучится к соседям и тут же скроется за дверью. Он вслушивался в вечерние звуки: вот что-то сказали на-

распев, как, бывало, он говорил в детстве (говор этот ни с чем не спутаешь!), вот звякнула щеколда, там брякнули подойником, вдруг разом во всех домах забили часы. И за всей этой ночной возней и невнятицей он ясно различал, как на ложе из гальки ворочается река. В нескольких метрах от него белел парапет; он встал, подошел поближе и, перегнувшись через перила, стал вглядываться в черневшую внизу воду.

И тут ему вдруг померещилось что-то абсолютно несуслазное — а может, так оно и было? С детства он помнил, куда течет река: если смотреть с того места, где он сейчас стоял, она текла по направлению к станции. Мальчишкой он столько раз бродил по воде (пальцы ног и сейчас помнят гладкие, округлые камешки), и река непременно толкала его в ту сторону. Но сейчас она течет вспять, по направлению к церкви! Никаких сомнений. Он ясно видел это по отражению в воде луны, белевшей над смоковницами. У камней, торчавших на поверхности, струи воды пенились, образуя воронки и разворачивая реку вспять, против течения. С час примерно Оливеро не мог двинуться с места, будто его пригвоздили к парапету: под угрозой оказалась вся стройная система воспоминаний. Он перебирал в памяти подробности своих первых свиданий с рекой. Он припомнил, как, выстроившись ровными рядами, шла вниз по течению форель: с каменного моста

у церкви ее хорошо было видно. Сколько раз он смеха ради пробовал, изловчившись, незаметно уронить сверху камень, целясь в проплывавший под мостом косяк, и, конечно, всякий раз мазал – камешек еще до воды не долетал, а рыбы уже словно и не было. Он вспомнил, как они любили барахтаться в заводи, ниже по течению, за мельницей. Он вдруг отчетливо представил себе прикипшие к воде ветви ивы: на них намотались длинные, выцветшие на солнце речные водоросли. «Бороды» эти облетали, клочки подхватывало течением, и их сносило – да, точно! – их сносило вниз, по направлению к деревне. Мельница же была в миле отсюда, вверх по течению, за церковью, и, если забраться выше мельницы и пойти вдоль русла, вверх по течению, то река начинала «кружить» (это, конечно, фигура речи, «кружить» она не могла, поскольку текла в то время в направлении, противоположном нынешнему). Итак, она кружила и петляла по окрестным полям и лугам, пока вдруг не пряталась под землю – там, у подножья гор и было ее начало. В детстве он излазил все верховье: отправлялся на целый день, шагая вдоль русла, пока не доходил до самого истока, топкого болотца, заросшего низкими кустиками пахучего мирта, вперемешку с яркими желто-зелеными островками лютиков. Так что он ни капельки не сомневался в том, что река брала свое начало где-то далеко за церковью, протекала по деревне и ухо-

дила в сторону железнодорожной станции. Но сейчас он собственными глазами видел (если только, конечно, зрение его не обманывало), что река текла вспять, в сторону церкви.

Вначале он попытался найти физическое объяснение тому, что видел. Например, реки часто меняют русло. Движение их обманчиво. Да и мало ли какие внешние преграды могут заставить естественный водный поток повернуть вспять, – неровность и каменистость почвы, не говоря уже о вмешательстве человека! И вот уже речка, которая в одном месте текла с севера на юг, в другом – неподалеку отсюда – течет с юга на север. Спроси путешественника, который по Панамскому каналу пересекает Атлантику, намереваясь попасть в Тихий океан: в каком направлении он движется? Скорей всего, он ответит (если, конечно, вообще соблаговолит ответить): «С востока на запад». Кто похитрей, тот, чтоб избежать подвоха, скажет: «С севера на юг». Но даже самому умному никогда не придет в голову, что, на самом деле, движется-то он с запада на восток, и причина здесь одна: очень сложные, замысловатые очертания перешейка. Так что надежды на то, что водный поток всегда будет стремиться в одном направлении – к морю, вообще-то говоря, очень мало: в действительности река может выбрать любой градус на окружности компаса. Все это так, только от места, где сейчас стоял Оливеро, до моста возле церкви, с которого

он когда-то подростком наблюдал за форелью, река течет по прямой: незачем ей вилить. Поэтому у него мелькнула мысль, что дело не обошлось без вмешательства человека, — кто-то искусственно повернул речку вспять (опять же, если только он не ошибся). Кстати, предположение о том, что изменить течение реки могло землетрясение, сдвинувшее плиты, покрывающие земную кору, он отверг сразу: не бывает в Англии землетрясений.

Чтобы проверить свою догадку, он решил, не смотря на поздний час, подняться к истокам реки. Лунного света будет достаточно, чтобы не сбиться с пути, а там как знать? — может, темнота пробудит в нем память детства и откроет ему тропинки, по которым он бегал когда-то босоногим мальчишкой — тайные тропы, известные одним лишь рыбакам, для чужака невидимые. Напоследок он решил еще раз убедиться в правильности своих наблюдений: спустился на берег в том месте, где местные жители набирают воду, стоя на каменном порожке; нагнулся и, подобрав полы плаща и закатав рукав, опустил в воду ладонь по самое запястье. И тут же кожей ощутил упругое движение холодной струи: глаза его не обманули. Не то чтобы ему недостаточно было того, что он видел, но, столкнувшись с фактом, не поддававшимся рациональному объяснению, он обрадовался, что другие органы чувств лишь подтверждают увиденное. Проверить никогда не лишне.

Было около восьми вечера. Последний раз он выпил чаю на узловой станции, где пересаживался на местную ветку, и теперь до утра другой пищи не предвиделось: в здешних краях люди ложатся спать натошак. А раз так, в гостиницу возвращаться было незачем: хозяин скорее всего решит, что он пошел навестить друзей. Главная улица к тому времени почти опустела: через час потушат огни, и все удалятся на покой. Он медленно зашагал в сторону каменного моста: помнится, там была развилка, – главная дорога шла прямо, а влево, вдоль излучины реки, уходила узкая проселочная дорога. Задерживаться на мосту не имело смысла: с его высокой арки, висевшей над рекой, да еще и в темноте, рыбу ни за что не разглядеть. И все равно Оливеро по старой привычке поднялся по истертым камням и сверху глянул в черную утрюмую воду, уходившую под мост. Впрочем, ничего нового он там для себя не открыл, а поэтому поспешил прочь с моста и направился к мельнице.

До сих пор дорога шла ровно – без уклонов и подъемов, не давая Оливеро пищи для размышлений о противоречивости закона элементарной физики, который гласит, что вода вверх не течет. Он вспомнил, что в школе у него с этим законом возникали какие-то сложности: ему было трудно принять его за аксиому. По опыту он знал, что если посмотреть на длинный рукав реки с ближне-

го холма, то кажется, будто он поднимается вверх, навстречу течению. И потом, вода – это не аморфная стихия: она по-своему упорядочена. Это видно по капле, свисающей, как алмазная бузина, с капустного листа, – целый мир отражается в ее блестящей овальной поверхности. Опять же, по его мальчишескому разумению выходило, что если сила заставляет воду течь вниз, значит, она же, эта сила, может заставить воду течь вверх. Когда ему объясняли, что это действует сила притяжения, он все равно стоял на своем, доказывая правоту математическими расчетами: если столб воды падает с высоты «х» футов* на площадь протяженностью «у» миль, то значит он может подняться на высоту «х-п» футов площадью в «у-п» миль. Разумеется, погрешность «п» может оказаться весьма значительной из-за того, что, к сожалению, вода имеет свойство стекать вниз. И все равно сохраняется большая вероятность, что можно заставить поток подняться вверх под небольшим углом, скажем, ярдов** на пятьсот.

Смешные детские расчеты! Вспоминая по дороге на мельницу то время, он посмеивался про себя... А места вокруг пошли сплошь знакомые. Когда-то давно он знал на ощупь и цвет каждый камень на дорожке... Дома справа закончились, потянулась изгородь – помнится, когда-то он подмечал в ее зеленой массе всякое новое пятно, каждый свежий изгиб. В детстве мельница была

ему вторым домом, он каждый день бежал туда после школы, а потом уж домой. Здесь легко было укрыться: противоположный берег густо порос деревьями и кустарником – ивами, ясенями, бузиной, терном; ветви их нависали над самой водой, – то-то раздолье для камышовок! Скоро впереди покажется длинная белая стена мельницы, освещенная луной, как прожектором, а справа, под сенью громадного красного бука, – и дом мельника. Но чем ближе он подходил, тем больше его охватывало беспокойство. Он безотчетно ощущал какую-то неуловимую перемену. Казалось, переменилось все: воздух, звук падающей воды, силуэты деревьев, линия изгороди. Он невольно замедлил шаг, потом остановился: надо найти этому причину, благо луна светит ярко. Он стоял как раз в том месте, где раньше впереди был брод, а справа – мостик. Дело в том, что река здесь распадается на два рукава: налево с плотины течет отработанная вода, которая прошла через мельницу, а справа – естественное русло реки. Но теперь ни брода, ни белого мостика не видать: ровная дорога ведет к дому мельника, а внизу под дорогой, чернеет труба, обложенная кирпичом. Подойдя к этому новому «мосту», он с удивлением обнаружил там воду. Только если раньше водный поток с шумом и пеной вырывался из-под мельничных жерновов, то сейчас здесь был просто сток, а прежнее русло искусственного рукава давно заросло ивняком да

сорняками. Одно из двух – или мельницу забросили, или же теперь ее приводят в движение каким-то другим способом. Скорее, первое – слишком уж бросалось в глаза царящее кругом запустение: даже ночью его нельзя было не заметить. Подойдя ближе к дому, Оливеро убедился, что не ошибся: выбитые стекла, пустые глазницы окон, кое-как прикрытые мешковиной, потерянно хлопавшей на ветру. Кругом темно – ни огонька. Впрочем, за садом, по-видимому, ухаживали, а когда Оливеро тронул калитку, с высокой акации прыгнула кошка и стала тереться о его ногу.

Он пошел назад к реке. Во всяком случае, теперь он точно знал, что память его не подвела, – река действительно изменила течение. Почему? – в этом ему еще предстояло разобраться. Он вернулся к трубе и пошел по тропинке, что вела круглым путем к заднему двору мельницы, перемычке и плотине. Там мало что изменилось, разве что перемычку то ли частично смыло водой, то ли ее разрушили. Из-за этого река вернулась в свое естественное русло; он с детства помнил, что там брала начало проселочная дорога, соединявшая мельницу с ныне заброшенной сыромятней, в полумиле вверх по течению. Желая во что бы то ни стало разгадать тайну, он шел по тропинке вдоль реки, иногда натываясь на заросли крапивы и болиголова, пока, наконец, не добрался до развалин сыромятни, – места эти он когда-то излазил

вдоль и поперек и хорошо помнил. Вот эта ровная тропинка идет вдоль берега, справа – лес, на другом берегу – луга, примыкавшие к мельнице, а за ними, параллельно реке, дорога: она ведет к пустоши. Он задумался: становилось поздно, и еще неизвестно, долго ли будет светить луна. Может, лучше перейти реку вброд, а там лугами выйти на дорогу: все равно они с рекой еще раз сойдутся в двух милях отсюда? В темноте идти даже проще, – не отвлекаешься на побочные доказательства того, что река и впрямь поменяла направление. Но события последнего часа, особенно покинутая мельница, внушили ему такое чувство неуверенности, что он решил не рисковать, и быстро пошел дальше по заросшей тропинке, изредка взглядывая на бегущую рядом речку.

Кругом было тихо, только он да река: в тишине он отчетливо слышал, в какую сторону она течет. Весело бежала по камушкам вода, дразня его и маня за собой. Внезапно впереди заплясали огни, и он решил, что это Колдрон, или «Котлы», – так местные прозвали дом, стоявший на отшибе, у самой воды. Вроде, там тоже была мельница... Вот и разгадка! Как он раньше не додумался! Здешняя мельница, правда, была не чета деревенской, – так, пара грубых мельничных жерновов, пригодных в основном для обмолота зерна, идущего на корм скоту, – например, ржи. Пользовались ею несколько фермеров из дальней округи, экономя

на гужевом транспорте, – до деревенской мельницы далеко, требовались дополнительные телеги. Что, если люди в «Котлах» с тех пор развернулись, увеличили мощности, дело пошло в гору, деревенская мельница сама собой захирела, и необходимость в ней отпала. Нет предела человеческой предприимчивости, если есть условия, а здесь главное средство – энергия воды, – всегда под рукой. Он стал припоминать, что незадолго до его отъезда по деревне пошли разговоры о какой-то новой технике, благодаря которой мука получается белее и более тонкого помола, куда качественнее, чем раньше. Как знать, может, мельник из «Котлов» обскакал своего нерасторопного соседа, закупил современное оборудование и вытеснил конкурента?

Подойдя ближе, он подумал, что не ошибся в своих предположениях: в окнах одного или нескольких зданий (он пока не разобрал, сколько их) горел свет, а рядом слышалось мерное гудение машины. Перестроенную и усовершенствованную мельницу теперь не останавливали даже ночью. Через открытое окно он заметил бешено вращавшийся, поблескивавший в темноте маховик и приводные ремни. Тропинка упиралась в садовую ограду, – дальше хода не было, кроме как через мельничный двор, мимо хозяйского дома. Идти этой дорогой ему совсем не хотелось: вдруг еще остановят, начнутся расспросы, подумают,

что он что-то вынюхивает. Ему вовсе не было известно за расследование, которое он затеял; просто он знал, что скорее всего люди не поймут, почему для него это так важно, — еще решат, что умом тронулся: в такую-то темень вздумал бродить, да еще по пустяшному делу. Поэтому по двору он не пошел, а решил обогнуть дом со стороны поля, надеясь снова выйти к реке.

Зайдя за дом, он увидел, что только в одном окне нижнего этажа, почти у земли, ярко горит свет, отбрасывая широкий полукруг, — его, должно быть, далеко видно в поле. Первым инстинктивным желанием Оливеро было сделать крюк, чтоб обойти этот веер света на зеленой траве, но тут неожиданно из темноты вынырнула фигура: широкоплечий мужчина нес в руках что-то тяжелое. Когда этот великан почти вплотную подошел к оконному проему, Оливеро, предусмотрительно укрывшийся в тени, увидел, что тот тащит ягненка. Животное не подавало признаков жизни, и Оливеро решил, что оно мертво, тем более что на его глазах этот тип впихнул тушу в открытое окно, а потом полез туда сам — сначала перебросил через подоконник ноги, затем протиснул в неудобный низкий проем и туловище. Он проделал это очень быстро и умело — точно не в первый раз. Естественно, это разожгло любопытство Оливеро, оказавшегося невольным свидетелем. Он знал, что ягнята, бывает, умирают в холодное

время года, но сейчас погода стояла очень теплая, и потом, какой смысл проводить спасательную операцию в полночь, да еще тайком от посторонних глаз? Почему не отложить до утра? Тут он вспомнил, что многие местные жители не употребляют в пищу мясо животных, умерших естественной смертью (то есть по воле Господа, а не на бойне), и, стараясь избежать убытков, многие фермеры-животноводы пускаются на разные хитрости. Так и этот хозяин, вероятно, тайком от соседей, хочет забить уже мертвого ягненка, а потом продать. Только тушка уж слишком невелика; к тому же, место такое безлюдное, что, пронеси он мертвого ягненка в дом при свете дня, все равно никто бы не заметил. Что-то тут неладно, подумал Оливеро, и на какое-то мгновение эта новая загадка завладела его мыслями, – он и думать забыл о реке.

С минуту он подождал в своем укрытии, а потом стал медленно двигаться к свету, прячась в тень при каждом звуке и даже шорохе. Когда он был в трех метрах от окна, внезапно раздался леденящий душу крик – от неожиданности Оливеро даже застыл на месте. Но тут же метнулся к окну, пригнулся к земле и стал дюйм за дюймом поднимать голову, пока на уровне глаз не оказался подоконник. И тут он снова замер, как пригвожденный.

Справа, на голом столе, мордой к краю, лежал ягненок: горло его было перерезано, кровь из ра-

ны обильно стекала в специально подставленную миску. Посреди комнаты стоял мужчина: одной рукой он запрокинул голову женщины, схватив ее сзади за волосы, а в другой держал чашку, заставляя из нее пить. Эта сцена моментально запечатлелась в сознании Оливеро; чуть позже он заметил кое-какие детали: женщина, донельзя тоненькая и бледная, была привязана к стулу веревкой и не могла сопротивляться; по ее сосредоточенному и потрясенному лицу было видно, что она судорожно сжимает зубы, пытаясь оттолкнуть чашку. Кровь струйками стекала по подбородку, оставляя на белом платье ярко-красные пятна. Эту жуткую сцену освещала золотистая парафиновая лампа, ровно горевшая под потолком.

В таких обстоятельствах мужчина обычно не раздумывает. Он понимает, что не может оставаться безучастным наблюдателем, – происходящее требует его прямого и активного вмешательства. Кровь бежит быстрее, зрачки расширяются, волосы на голове встают торчком, ноздри раздуваются, – просыпается злость. Тридцать лет, чаще против своей воли, Оливеро провел в неустанной борьбе. Сколько раз в своей жизни ему пришлось действовать внезапно и решительно – не перечить! И хотя потом, когда все кончалось, ему всегда было трудно восстанавливать в памяти эти вспышки бешенства, – из чего они складывались, что привело его в такое состояние, – тем не ме-

нее, он всегда оказывался на высоте. Так вышло, что, не прикладывая никаких сознательных усилий, он заработал репутацию храброго парня. Он даже слыл смельчаком, способным на безрассудные поступки, что, вообще-то говоря, плохо увязывалось с его созерцательными наклонностями. Вот и сейчас, он, не рассуждая, вломился в комнату тем же манером, что хозяин, – запрыгнул через открытое окно, – да на беду руками схватился за нижний край оконной рамы, чтоб было проще перенести туловище через подоконник. А рама-то возьми да опустись прямо на него, – так он и завис в окне: ноги болтаются в комнате, а верхняя часть туловища – снаружи. При других обстоятельствах над этим можно было посмеяться: комичнейшая картина! Но сейчас она, наоборот, накалила страсти, внеся во все происходящее нечто абсурдное, фантасмагорическое, усилив и без того царивший в комнате ужас. Правда, вид застрявшего в окне незнакомца сыграл положительную роль и на какие-то доли секунды усыпил бдительность хозяина – случись по-другому, тот давно бы уже занял оборонительную позицию, приготовившись наброситься на соперника с кулаками. А так, обернувшись и увидев барахтающиеся в оконном проеме ноги, он, поставив чашку на стол, высвободил одну руку, а другую не успел, и по-прежнему держал женщину за волосы. Словом, замер в нерешительности. Оливеро воспользо-

вался заминкой: подтянулся, отжал раму и вбросил туловище в открывшийся проем – в следующую секунду он был уже на ногах, загораживая окно сильным тренированным телом, встряхивая головой.

Какое-то мгновение мужчины молча стояли друг против друга, готовые к схватке.

И тут Оливеро почувствовал, что у него пропало всякое желание ввязываться в драку. Голова лихорадочно работала. Он знал, что должен крикнуть: «Отпусти женщину, негодяй!», или что-то в этом роде. Но женщина сидела, уронив голову на грудь, только постанывая, совершенно не интересуясь тем, какая драма разворачивается вокруг нее. Безразличие, а, может, внешность женщины отрезвляюще подействовали на нашего героя, – он подумал, что в этой ситуации решительность или насилие были бы совершенно неуместны. И вместо того, чтоб издать грозный рык, он спросил с испанской учтивостью: «Могу я чем-то помочь?»

Не ответив, мужчина ретировался за стул, к которому была привязана пленница. И с этого безопасного расстояния продолжал сверлить непрошеного гостя взглядом, в котором читалась бешеная и при этом безысходная ненависть. Не спуская глаз с обидчика, Оливеро сделал несколько шагов по комнате, пока не убедился, что хозяин напуган и сопротивления оказывать не станет, –

скорее, убежит. Тогда Оливеро, все время держа мужчину в поле зрения, так же медленно прошел дальше и встал рядом с сидевшей женщиной. Зайдя ей за спину, он начал осторожно распутывать веревки.

Она никак не реагировала, — продолжала сидеть так же вяло и безучастно, как прежде. Когда он освободил ей руки, они упали вдоль тела, как плети, но головы она так и не подняла. Оливеро почувствовал бесконечную нежность к этому хрупкому беззащитному созданию, попавшему в лапы злоумышленника, и, пытаясь привести пленницу в чувство, он взял ее за руку и начал тихонько растирать онемевшую кисть. В глаза бросился цвет ее кожи, который он издавна принял за бледность. Кожа имела не белый, а слегка зеленоватый оттенок, как у утиного яйца. К тому же, она была необычайно тонкая, почти прозрачная: сквозь нее, словно сквозь зеленый лист просвечивали прожилки, сосуды, артерии, причем не голубовато-розовые, а ярко-зеленые и золотистые. Ногти были бледно-голубого цвета, точь-в-точь, как скорлупа яиц черного дрозда. Тело ее источало сладковатый, свежий аромат, похожий на запах фиалок.

Оливеро поднял глаза на мужчину: тот стоял у стены, багровый от злости. «Это же то самое зеленое дитя!» воскликнул Оливеро. Мужчина продолжал тупо смотреть перед собой, уставясь в одну точку. Оливеро понял, что угадал.

Машинально растирая прохладную на ощупь кисть женщины, он пытался вспомнить подробности странного события, случившегося в самый день его отъезда тридцать лет назад: событие это вызвало сенсацию не только в их деревушке, но и упоминалось в газетах всего мира. Собственно, и узнал он о нем в дороге и еще долго вспоминал о нем со смешанным чувством изумления и обиды на судьбу, помешавшую ему на месте заняться расследованием этого феномена, – ведь он, единственный из всей деревни, сумел бы разобраться в этой истории.

Если у кого-то есть желание полюбопытствовать, пусть поднимет старые подшивки газет, скажем, за 1830 год. (По вполне понятным причинам, точное время и место этого события огласке не подлежат). Из них он узнает, что в таком-то году, в такой-то деревне, в таком-то графстве объявились двое ребятишек примерно четырех лет. Они изъяснялись только на им одним понятном языке, который не имел ничего общего с известными языками. Откуда они родом, объяснить не могли. Каким образом оказались там, где их нашли, и как вообще оказались в этом подлунном мире, тоже установить не удалось. Одежда на них была из легкой, будто паутина, ткани светло-зеленого цвета непонятной выделки и, что уж вовсе удивительно, у них необыкновенная кожа: на цвет изумрудная, полупрозрачная, как мякоть кактуса,

только еще мягче и нежнее. Детишек, нуждавшихся в уходе и внимании, взяла к себе в дом одна местная жительница, вдова. С виду ребятишки были очень тихие, пугливые, как оленята, но совершенно дикие: они не имели ни малейшего представления о Боге и о тех элементарных нормах морали, которые к этому возрасту усваивает каждый английский ребенок. Так вот, оказывается, Оливеро о том странном событии не забыл, – оно жило в его памяти, как неразгаданный знак, символ, тайно связанный с его неожиданным бегством и – теперь уже ясно – неизбежным возвращением.

Неудивительно, что он так быстро, не задумываясь, с первого же взгляда узнал сидевшую перед ним женщину. Едва он понял, кто она, у него стало легко и покойно на душе. Мозг его по-прежнему лихорадочно работал, перед мысленным взором вставали и проплывали образы и картины самые невероятные; но вся эта бурная умственная деятельность была сродни мелким безобидным возмущениям песка в гироскопе. Да, она волновала его разум, но во всем остальном была далека и чужда прохладной стихии его тела.

Он отер платком струйки крови, стекавшие по лицу женщины, приподнял бессильно висевшие руки и сложил их у нее на коленях. Слышалось ровное спокойное дыхание, – глаза у нее были открыты, но взгляд по-прежнему устремлен в пол. Оливеро посмотрел на ее обидчика, – тот явно

свыкся с ситуацией и снял оборону. Он повернул слегка голову, искоса поглядывая на Оливеро, и этот вороватый взгляд исподволь выдал его.

— Ты — Коленшо!, — внезапно осенило Оливеро, и он сделал шаг в сторону хозяина дома.

Тот вконец испугался: к физическому страху теперь добавилось опасение, что незнакомец — ясновидящий, чуть ли не пророк, наделенный божественным даром. Ужас настолько обуял мельника, что на глазах у Оливеро тело его обмякло, и он со стоном повалился ему в ноги.

А у Оливеро и в мыслях не было причинять хозяину зло. Он боялся другого, — как бы его не захлестнуло презрение к этому садисту. Но желание проникнуть в тайну событий, невольным свидетелем которых он оказался, было сильнее. Сейчас он уже точно знал, что сама судьба свела его с этими людьми. Поэтому ему во что бы то ни стало необходимо было завоевать их доверие. Он наклонился, помогая мужчине подняться, и подвел его к стулу возле другого конца стола. Сам сел с противоположного края. Ровно посередине между ними оказался ягненок на блюде, — вид его не давал Оливеро покоя, ему было не по себе. Он не успокоился, пока не взял блюдо с ягненком, не отнес к окну и не выставил его на двор. После чего прикрыл окно и вернулся за стол.

— Послушай, Коленшо, — обратился он к земляку, — постарайся вспомнить, что было тридцать

лет тому назад. Ты был школьником, так ведь? Ты помнишь последние дни за школьной партой, – вспомнил? Не забыл, как однажды после обеда твой наставник разложил на учительском столе модель заводной железной дороги? По тем временам это была большая редкость: настоящий паровоз с вагончиками, только совсем маленький, произведение отличного мастера, умельца-инженера. Не чета нынешним игрушкам, каких полно в каждом магазине. Смастерил ту железную дорогу мой дядя, чуть ли не первый у нас инженер-конструктор. Это был его подарок – я хранил его с детства. Вам, малышам, я давал ее поиграть потому, что считал процесс обучения несовершенным, – я до сих пор придерживаюсь того же мнения, – и мне было важно дать вам возможность углубиться в мир вашей фантазии, воображения. Вы играли, а я за вами наблюдал, и многое тогда понял в том, как работает ваша мысль. Порой я наблюдал за вами невзначай, и вот однажды вышло так, что на моих глазах один мальчик угрюмого, тяжелого нрава, схватил паровоз и начал из всей силы закручивать пружинный механизм. Вас всех заранее попросили не заводить двигатель до упора. Но этот школьник почему-то решил нарушить правило, хотя он знал, что наставник дорожит этой игрушкой, и товарищи обожают с ней возиться. Нет, он будто назло всем продолжал закручивать все сильнее и сильнее, преодолевая со-

противление тугой пружины. В конце концов, она, конечно, не выдержала и лопнула. Раздался щелчок, свернутый кольцом металлический язык вылетел наружу, от неожиданности и испуга мальчик выронил из рук паровоз, и тот остался лежать на столе, как животное с вспоротым брюхом и вывалившимися внутренностями. Этим подростком был ты, Коленшо, а я – твоим наставником. Когда пружина лопнула и паровоз сломался, что-то надломилось во мне. На следующий день я уехал из деревни и ни разу за эти тридцать лет сюда не возвращался».

Он взглянул на Коленшо; тот сидел притихший. Оживился лишь, когда Оливеро узнал его, и то эта неожиданная встреча его скорее позабавила, чем изумила. Если бы сегодня случай не свел их вместе, то Коленшо, скорее всего, и не вспомнил бы о тех давних событиях. А для Оливеро они значили слишком много: они на годы вперед определили развитие его личности, глубоко отложившись в памяти. Коленшо же начисто забыл о молодом учителе, который два года подряд бился с семью-восьмью трудными подростками. В его голове остался лишь смутный образ: высокая фигура, бледное лицо, прямые темные волосы, спадавшие на лоб. Школу он помнил плохо, – вроде был там круглый стол, за которым сидели ученики, была черная мраморная каминная полка, перед камином – кресло учителя. Каждое утро Оливеро са-

дился в это кресло и начинал учить – учить читать, писать, считать. Здание школы стоит до сих пор (к слову сказать, в архитектурном отношении безобразная постройка городского типа, совершенно выпадающая из деревенского пейзажа), только в классной комнате теперь располагается адвокатская контора мистера Кавердейла, а второй этаж занимает Клуб Консерваторов. В отличие от остальных домов, школа пряталась в глубине двора, за небольшим садиком. Но деревья давно спилили, участок замостили брусчаткой, так что единственным ярким пятном во всей этой картине оказалась медная табличка с именем мистера Кавердейла. Выходит, не вписался жесткий урбанистический квадрат в прелестную живописную деревушку, и она выпихнула его на зады: пусть себе догнивает.

Школу в конце концов закрыли, учитель уехал; спустя несколько лет умер отец-мельник, – до воспоминаний ли было? Игрушечный паровоз он помнил, а вот как его сломал, не помнил вовсе, и уж, конечно, не проводил никакой связи между сломанной игрушкой и внезапным отъездом учителя.

Оливеро продолжал:

– Мелочь, кажется, а ниточка оборвалась. Матери не было в живых, отца я не любил. Связывать свою жизнь с сельской школой я не собирался, – не чувствовал к этому роду занятий ни физичес-

кой, ни душевной склонности. Я мечтал стать поэтом, но стихи получались мрачные, темные, и издатели отказывались их печатать. Я чувствовал бессилие и безысходность оттого, что ничего не происходит, и я вынужден бездействовать. Я вяло сопротивлялся вашим невежеству и глупости, — я имею в виду тебя и твоих товарищей, — но поскольку в знание я не верил, то хотел только одного: чтоб вы оставались в том же невинном и счастливом состоянии, в каком пребывали всегда. Со стороны это воспринималось как неуместное попустительство, и родители стали забирать детей из школы. Наконец, осталась лишь небольшая горстка учеников, их родители не придавали образованию никакого значения, им просто нужно было занять детей на несколько часов в день, чтобы те не болтались у них под ногами. Некоторых из ребятишек я искренне любил: они были милые симпатичные увальни, эдакие телята или жеребят — длинноногие, угловатые, нескладные. Совершенно безобидные, — во всяком случае, мне так казалось до того самого дня, пока я не увидел в твоих руках свой паровозик с лопнувшей пружиной. Это был конец. Я все бросил и уехал.

Раздался слабый стон. Оливеро заглянул в лицо женщины. Она по-прежнему ровно дышала и, казалось, спала.

— Как она? Расскажи, — попросил Оливеро, снова поворачиваясь к Коленшо. — Расскажи о ней.

– Ее все зовут Веточка, – прошептал Коленшо, глядя Оливеро в глаза и будто не видя его.

Разговор не клеился. Сколько воды утекло, и объяснить что-то в двух словах было трудно. Последние пятнадцать лет, с того дня, как он привел Веточку в свой дом на правах жены и хозяйки, он жил обособленно. Ничего не читал, почти ни с кем не общался, удовлетворяя по наитию только самые насущные потребности, и так изо дня в день все пятнадцать лет. И тут вдруг кто-то заявляется, о чем-то расспрашивает, – человек явно не его круга, язык у него хорошо подвешен, сантименты разводит, судя по всему, бывалый. Он инстинктивно чурался подобных людей. Но порой безысходность заставляет нас изменить своим привычкам, уводя в мир фантазии и воображения.

– Веточка появилась у меня, – выдавил Коленшо, – пятнадцать лет назад.

– По-моему, детей было двое, – заметил Оливеро.

– Второй почти сразу умер, – ответил мельник – Он не прожил в этом мире и нескольких месяцев. Ничего не ел – полное истощение. А теперь и она затосковала, видно хочет вернуться туда, откуда они оба пришли.

– Ты поэтому заставлял ее пить кровь?

– Да... Она неделями ничего не ест, только пьет воду и молоко, да и молоко-то через силу. Как пить дать, загнется и умрет, раз мяса не ест и жить не хочет.

– Расскажи мне обо всем по порядку. Я же ничего не слышал с тех пор как уехал.

Тогда Коленшо сбивчиво и путано, начал рассказывать историю Веточки и ее брата, причем Оливеро приходилось то и дело переспрашивать и уточнять. За разговорами Веточка уснула, а может, впала в забытие, – как бы ни было, она глубоко и ровно дышала.

По рассказу Коленшо получалось, что однажды на дороге со стороны пустоши местные жители обнаружили двух странных ребятишек: они направлялись в деревню. Кое-что в его описании их внешности и повадок совпадало с тем, о чем Оливеро уже знал. Дальше мельник сообщил, что приютила их старая миссис Харди (когда-то она нянчила Оливеро), – собственно, она их и нашла на дороге. Взяла к себе в дом, накормила, обогрела, словом, ухаживала за ними, как за родными. Она была вдова, а ее единственный сын, Том Харди, ушел в плаванье, – он был моряк. В те дни газет в современном понимании этого слова не существовало, – не было ни репортеров, ни фотографов, и такое событие, как появление двух зеленокожих ребятишек, было интересно разве что местным жителям. Конечно, разговоров ходило много и разных, приезжим в те дни обязательно демонстрировали местную достопримечательность – зеленокожую парочку. Врач из соседнего городка все норовил провести настоящее научное обследо-

дование найденшей: измерить им пульс, прослушать легкие, составить кривую их сердечных ритмов и даже прибегнуть к такому медицинскому новшеству, как анализ мочи и крови. Только миссис Харди была женщина суровая, и она пуще собственного oka оберегала здоровье своих новых подопечных. Врач на этом не успокоился, — обескураженный неудачей с медицинским освидетельствованием маленьких пришельцев, он затеял было судебный процесс. Но скоро понял, что золотых гор обладание зеленокожей парочкой не сулит: закон не предусматривает никаких мер в случае обнаружения двух таких необыкновенных особей, и, поскольку в данном случае закон, скорее всего, не нарушен, то миссис Харди не возбраняется опекать детей *de jure* и *de facto*. Единственное осложнение касалось приходского священника: его преподобие настаивал на крещении детей. По его настоянию миссис Харди отправилась с детьми в церковь, а младшенький (или тот, кто казался помладше) возьми да умри прямо по дороге в церковь. Эта внезапная смерть так напугала всех, включая священника, что он зарекся вмешиваться в процесс воспитания найденшей и оставил миссис Харди в покое. Правда, похоронить маленького по христианскому обычаю не дали, зато никто не препятствовал решению миссис Харди предать его тело земле на развилке дороги, ведущей с пустоши: ровно посередине меж-

ду дорогой к селу и дорогой к мельнице. Ходили слухи, что когда-то, еще в восемнадцатом веке, на этом самом пустыре похоронили страшного разбойника.

Второй найденыш, которого миссис Харди стала ласково звать «Веточка», развивался нормально: от пищи девочка не отказывалась и росла на глазах. Никто, впрочем, не взялся бы точно определить возраст детишек. По физическому развитию им было не более четырех-пяти лет, — говорить они не умели и никаких признаков мыслительного процесса не выказывали. Но на их взрослых, пусть миниатюрных лицах застыло выражение какой-то вселенской мудрости, перед которой отступали любые расчеты. И хотя физически Веточка, так сказать, увеличивалась в размере, выражение ее лица не менялось: тридцать лет прошло, а черты ее лица были все те же, черты человека без возраста, невинного дитяти, каким она была, когда ее нашли. Просто она стала больше.

Находились и такие, кто увидел в появлении найденышей колдовство, и некоторые из числа самых внушаемых и подозрительных рады были бы, если б удалось извести этих зеленых змеенышей. Да не тут-то было. Времена менялись: в стране стремительно распространялось просвещение, а просвещение всегда несет с собой терпимость. Впрочем, Веточка никому не мешала: она никому не попадалась на глаза, к тому же дом

миссис Харди стоял на окраине деревни, у самого леса. Веточка наверняка большую часть года пропадала в окрестных лесах и полях, благо почти не выделялась на зеленом фоне.

Дорога от мельницы Коленшо в деревню шла мимо дома вдовы Харди, и всякий раз, проезжая мимо, Коленшо вспоминал о его странной обитательнице. Бывало, ее черты вдруг возникали среди зелени, как абрис крыльев встревоженного мотылька. Но из-за своей пугливости она никогда с ним не заговаривала, и у него не было другой возможности разглядеть ее поближе, кроме тех редких случаев, когда он встречал их вдвоем с миссис Харди на дороге, — они возвращались из лесу, и Веточка несла на спине легкую вязанку дров для растопки. Иногда он останавливался поговорить с миссис Харди, начинал расспрашивать, нет ли у нее вестей от Тома и в каких морях он нынче ходит. И миссис Харди никогда не отказывалась поговорить минуту-другую с угрюмым неуклюжим пареньком: ведь они с Томом были как братья, пока сын не ушел в плаванье. Так тянулось несколько лет, а потом однажды, лет через десять после появления зеленых найденышей, с миссис Харди случился удар, и хотя она оправилась, ей было ясно, что дни ее сочтены. Она решила, что должна позаботиться о будущем Веточки, и выбор ее пал на Коленшо. Ему уже исполнилось двадцать два, он не пил, был хозяйственным; она судила по шу-

му, доносившемуся с небольшой мельницы его отца, – работа там кипела: днем и ночью, не переставая, мололи зерно для фермеров из дальней округи. В хозяйстве Коленшо явно недоставало женских рук (мать его умерла вскоре после его рождения), но женщинами он не интересовался и на уговоры старика-отца жениться не поддавался ни в какую.

Встречи на дороге участились, разговоры про Тома обрастали все новыми подробностями. Наконец, миссис Харди пригласила Коленшо зайти в дом, – на улице шел дождь, и разговаривать под открытым небом было неудобно. Он зашел посидеть, и Веточка приготовила им чай. Она молча и робко двигалась по комнате, на стене возникали, дрожа, легкие тени от огня в камине, и тут у Коленшо в первый раз защемило сердце, – он затосковал. Затосковал по женскому теплу, по этой странной женщине, пришельце из другого мира, где царят смирение и деликатность. В тот вечер он унес с собой ее образ: вспоминал о ней среди серых стен мельницы, в огромной пустой кухне с открытым очагом и высокими, черными от копоти балками.

Теперь, встречаясь с миссис Харди, Коленшо прятал глаза и старался поскорее свернуть разговор, – по этим признакам миссис Харди догадалась, что юноша влюблен. Она ободряюще улыбалась и всячески поощряла его. Но Веточка никак

не откликалась. Она ничего не знала о любви и ведать не ведала о тех проявлениях этого чувства, которые знакомы каждому простому смертному. К тому времени она уже научилась изъясняться по-английски, но познания в языке определялись обстоятельствами жизни ее опекуниши, одинокой женщины, которая жила заботами о сегодняшнем дне и хлебе насущном. Книг в доме не было, даже Библию, и ту вдова Харди ей не читала, хотя из Библии Веточка могла бы почерпнуть знания об истории мира и страстях человеческих. По правде сказать, миссис Харди не умела читать, — редкие письма Тома ей читал по ее просьбе почтальон: она всегда приглашала его зайти в дом и награждала за услугу стаканчиком вишневой наливки. Раз в два года на неделю приезжал на побывку Том. По обычаю тех лет, он был любящим сыном, но все равно чувствовал себя своим только в мужской компании, вот и пропадал чаще всего в деревне с приятелями за кружкой пива или у Коленшо на мельнице. Он был рад, что старуха-мать в доме не одна, есть кому помочь при случае и поухаживать, если, не дай бог, заболит; но сама-то девушка была очень уж странная, и для Тома она так и осталась загадкой. Как-то он рассказал историю про зеленых найденышей приятелям-матросам, так они долго над ним смеялись, — тот случай навсегда отбил у него охоту выставять себя на посмешище. Теперь, приезжая домой погос-

тить, он вел себя так, будто ничего не знал о прошлом Веточки. Он попросту избегал ее, а ее это никак не задевало, – возможно, она считала такое отношение нормальным.

Все обострила давно назревавшая болезнь миссис Харди. Однажды утром, вставая с постели, она потеряла сознание и долго лежала, недвижимая. Обнаружила ее Веточка, – не понимая, почему та долго не встает, она поднялась в спальню и увидела ее на кровати: бледная, как мел, бедная женщина лежала без движения. Веточка не знала, что такое смерть, как она наступает, поэтому села рядом на стул и стала ждать, когда хозяйка проснется. Наконец, та приоткрыла глаза и спустя несколько минут пришла в сознание. Она была страшно напугана и наказала Веточке, не теряя ни минуты, бежать за Коленшо, – врачу она не доверяла. Когда Коленшо прибежал по ее зову, она попросила его подойти к кровати и сесть рядом с ней. По ее просьбе он достал из тайника в печной трубе шкатулку и открыл ее. Там хранилось девяносто золотых монет, золотая брошь тонкой работы и медальон с прядью волос Тома. Брошка должна перейти Веточке, медальон – сыну, а деньги, – при одном условии, подчеркнула вдова, – деньги он может взять себе. Условие же такое: если он сейчас же встанет перед ней на колени и торжественно поклянется, что возьмет Веточку к себе в дом, женится на ней и до конца

жизни будет ее лелеять и холить. Миссис Харди не успела договорить, а мельник уже стоял перед ней на коленях. Позже, сойдя вниз, он увидел Веточку: она чистила в кухне картошку, сзади из окна на нее падал свет. Он проникал сквозь обнаженные руки, пальцы, нежную шею, и вся она светилась, как бывает, светится ладонь, закрывающая от сквозняка свечу, или сквозь полуприкрытые веки пробивается солнечный свет многоцветной радужной паутиной. Коленшо унес шкатулку на мельницу – показать золото отцу, и тот охотно благословил будущий брак. Этих денег хватит, чтобы купить новый механический вал и делать муку более тонкого помола, чем производил деревенский мельник на стареньком агрегате.

Миссис Харди так и не оправилась от удара. Умерла она ночью, во сне. Утром Веточка не смогла ее добудиться и позвала на помощь Коленшо. Тот, заранее зная, что произошло, уговорил ее не возвращаться домой, а остаться и подождать его на мельнице. А сам отправился в деревню, нашел врача, и они вместе пошли в дом Харди. Врач засвидетельствовал факт смерти в результате сердечного приступа. Похоронили вдову на кладбище для нищих, поскольку денег в доме не было. Правда, позже кое-какие средства выручили за продажу мебели на аукционе, и эти денежки пошли на уплату аренды. Больше вопрос о наследстве

не вставал, и постепенно все забылось. Никто не поинтересовался, на каком основании Коленшо взял Веточку в жены; обвенчаться по христианскому обычаю им было нельзя, — Веточка была не крещеная. А как живут — кому какое дело? Пусть себе живут, все равно их дом на отшибе.

После того, как Коленшо привел Веточку в свой дом, отец его прожил еще лет пять, но в отношении молодых не вмешивался. Толстый, обрюзгший старик, он почти весь остаток своих дней спал в кресле в темном углу громадной кухни. Кроме отца и сына, в доме еще была служанка. Когда появилась Веточка, прислуге было отказали. Но Коленшо быстро смекнул, что его женушка, так сказать, безрукая, неумеха в вопросах ведения хозяйства, и, не мешкая, вернул в дом служанку — за кухарку и горничную. За Веточкой он сразу же заметил кое-какие странности. Она ни за что не хотела подходить близко к огню и наотрез отказывалась от всякой мясной пищи. Еще она была очень восприимчива к жаре и холоду — гораздо сильнее, чем любой нормальный человек. Случись ей оказаться вблизи открытого огня, как она бросалась прочь, словно ошпаренная. Руки ее не выносили горячей воды: она даже не могла ответить на рукопожатие, — рука казалась ей слишком горячей, и она невольно отшатывалась. Ее вегетарианство, похоже, было врожденным, она не выносила даже вида сырого мяса. Правда, свежую

форель иногда пробовала, но только в холодном виде. Понемногу пила молоко, а ее лакомства иначе как странными назвать было нельзя: лесные орехи, сладкий вереск, водяной кресс, всевозможные грибы и даже поганки.

Дошли до описания их личных взаимоотношений. И тут, как и следовало ожидать, Коленшо застенчив: что-то недоговаривал, что-то обходил молчанием. По своей природе он был сильным утрюмым животным и это проявлялось во всех его повадках. Не имея никакого опыта, он не сумел привить своей половине если не любовь, то интерес к маленьким удовольствиям и обязанностям, налагаемым на супругов совместной жизнью. А Веточка не просто не знала нормальных сексуальных влечений, — она была их попросту лишена. Стоило Коленшо приблизиться к ней с желанием обнять и поцеловать, как она бросалась прочь, точно от жарких объятий фавна. Бежала в ночь, в темноту, пряталась по лесам, забиралась на верхушку акации (южное дерево — большая редкость в этом богом забытом крае) и там отсиживалась, чувствуя себя в безопасности только под сенью развесистой кроны. Ей нравилась студеная вода мельничной запруды: бывало, сбросит с себя платье, ни капельки не стесняясь, и плавает русалкой, почти невидимая в зеленой заводи. Ни к людям, ни к животным привязанности она не испытывала; ни разу не всплакнула по миссис

Харди; домашняя живность ее не интересовала – ни сторожевой пес, ни курочки, ни телята. Если она на что-то и заглядывалась, то на птичек, особенно тех, что летают низко, у земли – разных крапивников, коноплянок. Слух у нее был не хуже, чем у черного дрозда. Она не пела, не насвистывала, – вообще к музыке была равнодушна. Единственный звук, который ее завораживал, – это журчание воды: бывало, целыми днями играла у ручья, слушая, как бежит по камушкам вода. Она быстро утомлялась: пройти две-три мили было для нее пределом физических возможностей. Если, случалось, выходила из дома, то всегда шла в сторону вересковой пустоши, – прочь от деревни. Первое время ее отлучки пугали Коленшо, и когда она не возвращалась к полуночи домой, он выходил с фонарем ее искать. А она и не пряталась: сидела себе у ручья и всегда послушно возвращалась домой. Но время шло: бывало, Коленшо засыпал, так и не дождавшись Веточки, и чем дальше, тем все чаще она сидела ночи напролет у ручья одна. На самом деле, странного в том было мало, – ведь, в отличие от людей обыкновенных, она почти не спала. У нее случались периоды забытья, когда она впадала в транс, переставая что-либо видеть или слышать, но глаз при этом не смыкала. Может, ночью она и засыпала, лежа на своей кровати, только Коленшо ни разу не слышал звуков, какие спящие обычно издают во сне, так что если

она и спала, то так тихо и чутко, что просыпалась от малейшего шороха. Во всяком случае, ему ни разу не удалось подойти к ней, не разбудив.

А потом произошли два события, заставившие его на какое-то время забыть о Веточке. Умер отец; мельничное хозяйство продолжало идти в гору, требуя все больше времени и сил. Второй случай не делал Коленшо чести. Как-то жарким днем заглянул он в открытую дверь амбара, где хранили сено, — там, разметавшись, разморившись от летней духоты, спала служанка. Она лежала навзничь, юбка задралась, открывая полные белые ляжки. Желание захлестнуло Коленшо, — девушка не сопротивлялась; так с той поры и повелось, — свои естественные потребности он полностью удовлетворял, пользуясь ласками существа, находившегося у него в подчинении.

При этом он вовсе не охладел к Веточке. Его по-прежнему к ней тянуло, хотя объяснить, как и почему, он, пожалуй, не смог бы. То ли его манило ее тело — он чувствовал, что оно скрывало какую-то тайну, обещавшую одарить совсем иной любовью; то ли он был очарован ее простотой и непосредственностью, — трудно сказать. Оливеро так и не смог добиться от Коленшо внятного ответа на вопрос о том, как долго тот пребывал в состоянии обожания по отношению к Веточке, а сам Коленшо, понятное дело, не хотел ему открыться. Так что Оливеро не мог не признать, что Колен-

шо, с виду такой простой, на самом деле оказался скрытным и сложным и несколько сбил его с толку, притом, что опыта знакомства с разными человеческими типами Оливеро было не занимать. Он прекрасно понимал, что первобытные инстинкты у Коленшо развиты намного сильнее, чем привычка к цивилизованной жизни, но из этого вовсе не следовало, что Коленшо груб и безволен. Вспомним изощренные системы табу у диких племен: по ним видно, что развитие цивилизованного образа жизни отнюдь не является движением от простого к сложному, от грубого к утонченному, от естественных повадок к искусственно выработанным нормам поведения. Общая сумма притворства, как сказали бы сегодня, во все времена оставалась неизменной, — менялись лишь ее составляющие и их определения. Движение же от изощренности к простоте, несомненно, требует нечеловеческой материи, в чем и предстояло убедиться Оливеро.

Уважительное отношение Коленшо сохранял около десяти лет. Но к концу этого срока ежедневное общение, видимо, притупило в нем инстинктивный страх (ибо за обожанием, конечно, стояло чувство страха), а встречи со служанкой потеряли остроту и перестали его удовлетворять. Скорее всего, тогда же, за несколько лет до возвращения Оливеро, Коленшо начал истязать Веточку. Он часто запирал ее наверху, в спальне, оп-

равдывая эту меру тем, что ей не следует гулять где попало. Если бы ему только удалось приучить ее спать и принимать пищу в положенное время, она наверняка стала бы больше походить на человека и сделалась бы сговорчивей. Поначалу она сбегала, – выпрыгивала через окно; потом, когда этот выход заколотили, стала лазать в трубу, благо отверстие позволяло, – она была тоненькая и верткая, как ящерица. Она теперь подолгу пропадала, но забредать далеко не решалась, и Коленшо каждый раз отыскивал ее на вересковой пустоши: натаскает папоротника, сложит у пригорка, свернется калачиком и дремлет. Там Коленшо и обнаруживал ее, вконец одичавшую, едва живую.

Но ему и этого было мало. Ему бы радоваться, что Веточка нашлась, а он, наоборот, устроил на чердаке тюремную камеру. Ее перестали выпускать, только регулярно приносили еду: воду, молоко, лечебные травы, кресс-салат и холодную рыбу, – все как она любила. А она, хоть и ела, таяла на глазах. Однажды, под вечер, они со служанкой услышали, как пленница изо всех сил бьет кулачками в доски, которыми Коленшо заколотил чердачное окно. Поднялись наверх, а она лежит без сознания, – обессилела, бедная. Коленшо встревожился, поднял ее на руки, – легкую и хрупкую, как перышко, – понес вниз и положил на диван в комнате, которую они называли гостиной. Тут только он заметил, как она переменялась, и ему стало

страшно: прежде ее кожа цветом напоминала зеленый, светящийся изнутри плод, а теперь она стала матовой с желтым отливом, как бока переспелых слив. Блеск в глазах пропал, дыхания почти не ощущалось. Она долго лежала без движения: в открытое окно прямо на нее падали лучи заходящего солнца, лаская ее и обогревая. Той ночью Коленшо не стал забирать ее наверх, оставил лежать на диване, а когда наутро спустился, то увидел, что она стоит во весь рост в оконном проеме, зияющем, словно бойница, и купается в лучах восходящего солнца. Кожа ее снова засветилась, как прежде, в тот день она первый раз за долгое время поела, и постепенно к ней вернулись силы. Больше на чердак она не возвращалась.

Видя, что она немного окрепла, Коленшо стал брать ее с собой на прогулку, – они бродили вдвоем по окрестным полям, по берегу реки. Много времени проводили теперь вместе, но то были грустные часы: Веточка почти не разговаривала и брела сама по себе, а Коленшо был все время настороже и не спускал с нее глаз. Но ему все труднее было выкраивать время для прогулок, – дело разрасталось и требовало его всего без остатка. Видимо, тогда в деревне и закрыли старую мельницу; дело отца Оливеро прибрали к рукам люди недостаточно предприимчивые, лишенные практической жилки, они очень скоро не выдержали конкуренции с мельницей соседа и прогорели.

Чтобы немного разгрузить себя, Коленшо даже нанял управляющего, но все равно заказов было столько, что мельница работала без перерывов, днем и ночью, и частенько на работу приходилось заступать самому хозяину, а его, разумеется, ждали и другие дела: надо было объезжать рынки, договариваться с фермерами, вести бухгалтерские журналы и отчеты. В этом от Веточки, увы, проку не было; наоборот, ее присутствие чаще мешало. В доме теперь постоянно толпился народ: грузчики, кучеры, фермеры из ближней и дальней округи. Все эти люди слышали о Веточке: наверное, не было такого человека на тридцать миль окрест, – мужчины ли, женщины, ребенка малого, – которому не рассказали бы когда-то историю про зеленых найденышей. Естественно, Веточка была предметом общего любопытства, Коленшо о ней постоянно расспрашивали, а ему это страшно не нравилось. Впрочем, люди быстро поняли, что для мельника это большая тема, и старались ее не касаться. Однако всегда находился кто-нибудь, кто по недомыслию или неведению принимался беречь старую рану.

Люди, чья жизнь течет однообразно, размеренно, ровно – изо дня в день, из месяца в месяц, многие годы – обычно не ощущают внутреннего напряжения, свыкаются! Те же, кто ничем особо не занят, кто постоянно сосредоточен на своих переживаниях, как правило, очень быстро дово-

дят любую ситуацию до эмоционального всплеска. А у таких, как Коленшо, состояние психологического вакуума может длиться годами, и причина здесь очень проста: голова настолько занята практическими вопросами, что на личную жизнь времени просто не остается. Совсем другое дело – Веточка: в каком-то смысле психология у нее отсутствовала. Никакого проявления обычных человеческих чувств за ней не замечали: как уже говорилось, она не горевала после смерти миссис Харди и брата своего не оплакивала. Заметнее было, как она реагирует на житейские ситуации, хотя физическое проявление эмоций в этих случаях было абсолютно непривычным для нас, людей обыкновенных. Так, гнев и изумление никогда не отражались ни в ее лице, ни в голосе, зато о них можно было догадаться по легкому дрожанию рук и ног и матовости кожи. А когда она радовалась, тело ее начинало еще больше зеленеть, светиться, в глазах появлялся огонек, как на кончике алмазной иглы, а смех напоминал звон колокольчиков, – казалось, на самом дне ее горлышка рождается чистый родниковый звук. Печаль, как и привязанность, ей была не ведома, но страх и отвращение она определенно испытывала, судя по тому, как внезапно белела или тускнела ее кожа, словно от недостатка солнечного света, только в этих случаях эффект был мгновенным, как смертельная бледность. Любовь, тем не менее, была здесь ни при

чем, а Коленшо, конечно же, в первую очередь пытался пробудить в ней чувство любви, но все впустую. Он не мог допустить, что существо столь женственное – и в силу этого особенно желанное в глазах мужчины – могло быть лишено того, что мы в нашем ученом мире называем половыми признаками, и на самом деле все, что стояло за знаками внимания, которые он оказывал Веточке, было слепым желанием доказать обратное. Стремлением во что бы то стало проникнуть в тайну Веточкиного сердца.

Только получалось это у него грубо, вслепую, бестолково.

Разумеется, в ту памятную ночь, когда Коленшо с Оливеро беседовали, а Веточка дремала рядом на стуле, забывшись от всех переживаний, мельник всего не открыл. Но Оливеро и сам все понял, по мере того как прояснялись обстоятельства последних пяти-шести лет. А поняв, не на шутку встревожился. Ведь на самом деле мужчина, что сидел напротив него, сбивчиво пересказывал недавние события и нехотя, с угрюмым видом отвечал на его, Оливеро, вопросы, остался в душе тем самым подростком, в ком четверть века назад учитель увидел воплощение злого разрушительного начала, спрятанного за фасадом цивилизации. Тогда ему пришлось спешно покинуть родные места, – он страдал от безысходности, и вид этого мальчишки, намеренно сломавшего пружи-

ну сложного и тонкого механизма, был последней каплей, переполнившей чашу разочарования: образ его навсегда врезался в память Оливеро. Конечно, с годами он научился не давать воли отчаянию и даже мириться со злом как необходимым стимулом, побуждающим человека совершать добрые поступки, преодолевать душевную лень и активно действовать, — тем не менее, он по-прежнему воспринимал зло как реальную и страшную силу. Стоило Коленшо заговорить в тот вечер, как Оливеро с болью в душе сразу понял, что в руках у этого злого от природы мальчишки снова оказался тонкий и сложный механизм, — повернувшись к хрупкой фигурке, полулежавшей на стуле, он подумал: как бы снова не сломать пружину.

Хорошенько допросив Коленшо, он предложил перенести Веточку в комнату: ему было нестерпимо больно видеть ее на кухне, под парафиновой лампой. Тот согласился, сказав, что лучше будет положить ее в гостиной на диване, — она любила просыпаться там по утрам, чтоб солнечный свет обнимал ее всю, от волос до кончиков пальцев. Оливеро вручил ему лампу — освещать коридор, а сам подошел к стулу и поднял Веточку на руки. Он изумился тому, какая она легкая, — ребенок, и тот тяжелее; сноп пшеницы, и тот весит больше. Справа от окна, через которое Оливеро проник в дом, располагалась прихожая, за ней — гостиная. В комнате стоял тяжелый дух — от

пыльной заброшенной мебели, ваз с сухими букетами роз на каминной полке, от порьжелых веточек лунника, похожих на стойких оловянных солдатиков. За начищенной до блеска латунной решеткой камина виднелись две огромные витые раковины, напоминая о надутых щечках купидонов, трубящих во все стороны света... Коленшо водрузил лампу на столик посреди комнаты, вслед за ним вошел Оливеро с драгоценной ношей: он направился в дальний конец гостиной и положил Веточку на кушетку, стоявшую у самого окна. Быстро снял с кресел подушки и нежно подложил их ей под плечи и голову. Взглянул на открытое настежь окно и хотел было закрыть ставни, да вспомнил, что она любила просыпаться в лучах солнца, и подумал: может, лунный свет ей тоже нравится? Так и оставил окно открытым. Оглянулся: Веточка лежала на кушетке, – справа от нее горела масляная лампа, из окна падал лунный свет. Она дышала ровно, и столько страдания было в ее восковом личике, обрамленном прядями живых русых волос, что у Оливеро заныло сердце. Молча он стоял и смотрел, чувствуя, как уходят куда-то, в этой неземной тишине, шум и ярость его беспокойной жизни.

На какое-то мгновение он забылся, а когда очнулся, увидел плачущее ненавистью лицо Коленшо над абажуром лампы. Все это время мельник стоял у столика, – как поставил лампу, так и замер,

опершись рукой о край. Глаза его жадно и ревниво следили за Оливеро. Он еще во время допроса, который учинил ему этот неизвестно откуда взявшийся самозванец, почуял в нем подозрение и злость. А теперь они во сто крат усилились: он готов был раздавить соперника. Все в этом человеке раздражало Коленшо: его уверенность, его умение мгновенно разбираться в тонкостях характера и скрытых мотивах поведения – словом, все, что человек простой с трудом замечает, а оценить и вовсе не способен. Да такой в два счета окрутит Веточку, уведет ее у него из-под носа, заговорит ее, найдет путь к ее сердцу! Еще бы! Ведь он за одну ночь сумел добиться того, на что он, Коленшо, потратил долгие годы.

– Пойдем отсюда, – сказал Оливеро. – И захвати лампу.

И пошел прочь; Коленшо нехотя поплелся следом. Вернувшись на кухню, они встали друг против друга, ничего не говоря: Оливеро стоял притихший, опустив голову, сцепив руки за спиной, – его угнетала безысходность создавшегося положения. Коленшо настороженно ждал.

Наконец, Оливеро встряхнул головой, точно прогоняя наваждение, и посмотрел на Коленшо:

– Теперь уже поздно возвращаться в деревню. Если можно, я хотел бы остаться здесь до утра.

– Здесь негде лечь, – последовал ответ.

– Неважно, – я устроюсь в этом кресле.

Коленшо переминался с ноги на ногу. Его бесила настырность Оливеро. Многое дал бы он, чтоб избавиться от ночного гостя, поставившего под угрозу размеренный ход его жизни, а может – как знать? – даже задумавшего похитить его Веточку?

– Нет! Лучше уходите – сейчас же! – закричал он, сжав кулаки и потрясая ими, как кувалдами.

Оливеро смекнул, что лучше мельника не раздражать, – пусть думает, что ему уступили. А тем временем надо спасать Веточку. Он слишком далеко зашел и многое пережил, чтобы кто-то в такой час распоряжался его судьбой.

– Хорошо, – ответил он. – Я уйду.

На самом деле уходить он не собирался. Он еще не сообразил, что будет делать. Посмотрел в окно, мысленно пожившись. Надо снова попытаться отыскать речку, ниже, за мельницей. Разумеется, он не допускал и мысли, что река изменила курс из-за каких-то махинаций Коленшо, но ему важно было убедиться в том, что река и дальше течет вспять. Он пошел к выходу, и стоявший в дверях Коленшо пропустил его. Оливеро вышел во двор: на серую брусчатку ложились неровные тени качавшихся вдалеке деревьев. Слева высились мельница – в нескольких окнах трехэтажной башни горел тусклый свет. Сквозь темноту доносился глухой звук работающей машины, и за ним слышался шум падающей воды.

Оливеро подошел к мельнице с торца, еще раз пройдя мимо открытой двери, через которую в первый раз заметил блестящие шестеренки и вращавшиеся ремни, и обогнул мельницу с другого конца. В этом месте река была перегорожена плотиной: прямо под его ногами вода быстро и почти бесшумно уходила под землю. Выныривала она по другую сторону дороги, уже крепко зажатая стенками шлюза, и с грохотом срывалась вниз одной сплошной стальной стеной, попадая прямо на лопасти гигантского мельничного колеса. Оливеро толкнул калитку и поднялся по ступенькам наверх, на небольшую смотровую площадку над мельничным колесом: справа от него была дверь – вход на мельницу. Оливеро посмотрел вниз: колесо медленно вращалось под тяжестью огромной толщи воды, разбивавшейся вдребезги о неподатливый, неуклюжий маховик и разлетавшейся во все стороны мелким стеклярусом брызг. Оливеро всмотрелся в глубину шахты: излишки вспененной воды стекали вниз по длинному желобу. А под колесом потоки вновь сливались, падаясь в ведьмин котел, адскую пучину, из которой поднимался жуткий грохот, заглушавший все остальные звуки.

Оливеро прошел в конец смотровой площадки и посмотрел вниз на пенившийся водоворот. В ярком лунном свете вода отливала маслянисто-желтым, но разобрать, в какую сторону закручи-

вается поток, он не смог. За много лет столб падающей воды пробил в земле глубокую скважину, – в нее, как в калейдоскоп, можно было всматриваться целый день, и ни одна комбинация из сотен ручейков и потоков не повторялась. Это был бурлящий водоворот, в нем бурлило множество сильных и слабых струй, фонтанчиками бивших в разные стороны. Главное же течение терялось во мраке.

Как ни всматривался Оливеро в темноту, все было напрасно, – никакой надежды. А что если остановить мельничный маховик? Тогда станет видно, что делается с водой в скважине. Опыт подсказывал ему, что нет ничего проще, чем остановить запущенное колесо: даром он, что ли, ребенком толкался среди взрослых на мельнице? Одно из двух: или повернуть деревянные лопасти, на которые падает вода, таким образом, чтобы она свободно проходила, их не задевая, или же перекрыть сам шлюз и тем самым отсечь воду. После некоторых колебаний Оливеро остановился на втором решении: в этом случае вода в скважине будет не так взбаламучена. Он пошел назад к мостику, где находился затвор, регулирующий работу шлюза. Его опять настолько захватил исследовательский азарт, что он и думать забыл о мельнице.

Итак, он до самого упора закрутил замок и снова побежал на смотровую площадку. На его глазах колесо медленно сбавляло ход, обнажались по-

крытые мхом лопасти и клепки, пока вся машина, наконец, не встала. Чтобы лучше видеть воду в скважине, Оливеро лег плашмя на живот и поставил ладони «домиком», чтоб в глаза не попадал лунный свет. Позабыв обо всем, он напряженно всматривался в глубину. Шума от воды меньше не стало, поэтому он не заметил, как перестала работать мельница, и как кто-то сзади открыл калитку. А произошло вот что. Пока Оливеро производил свои исследования, Коленшо решил проверить, как работает мельница, и, к своему изумлению, обнаружил, что техника его встала. Час был поздний, управляющий уже ушел, так что останавливать колесо было некому. Уж не случилось ли что с потоком воды? – подумал мельник и пошел на смотровую площадку проверить обстановку. Открыв калитку, он в темноте ничего не разобрал, только заметил, что в шлюз не поступает вода. Стал спускаться с площадки и обо что-то запнулся (а это была нога растянувшегося во весь рост Оливеро). Потеряв равновесие, Коленшо упал, а площадка-то ведь узкая, без перил, – он наудачу ухватился за край деревянного желоба и только тем и спасся: иначе лететь бы ему головой вниз прямо на мельничное колесо! Отдышавшись, он перевернулся на спину, привстал и ба! перед ним стоял Оливеро. Тот, ясное дело, вскочил, слышав вокруг какую-то возню и ничего не понимая. Уже готов был прокричать объяснение, перекры-

вая шум воды, как вдруг из темноты к нему вплотную придвинулось искаженное гримасой ненависти лицо Коленшо. Теперь мне несдобровать! — мелькнуло у него в голове. Одним прыжком он очутился между Коленшо и открытой дверью. Но и мельник был не промах: он ринулся наперерез, и они сошлись в рукопашной на узкой смотровой площадке. Коленшо обхватил ручищами туловище соперника, пытаясь оторвать его от земли и столкнуть на край. Оливеро судорожно пытался разжать эти железные клещи, — наконец, ему это удалось: он высвободил правую руку, уперся ею изо всей силы в скулу противника, пытаясь заставить его ослабить хватку. Но тот все же оторвал его от земли. Теперь мельнику надо было развернуться, перенеся на одну ногу тяжесть тела и груза, прижатого к груди, и в эту самую секунду Оливеро, понимая, что настал решающий миг, невероятным усилием дернулся назад, ударившись спиной о стену и заставив-таки Коленшо потерять равновесие. Мельник пошатнулся и рухнул наземь. Голова висела над ямой, но он по-прежнему сжимал Оливеро в объятиях, как ящерицу. Тот, как мог, извивался, пытаясь обеими ногами нащупать опору, и, наконец, ему это удалось: одной ногой он уперся в стену мельницы, другой — в желоб. Теперь никакому силачу не опрокинуть его навзничь. Свободной рукой он все упирался в стальную скулу Коленшо и тут решил поднажать. Как

бы ему шею не свернуть, мелькнуло у него в голове: этого ему совсем не хотелось.

– Сдавайся! – закричал он, как когда-то в детстве. – Сдавайся, слышишь!

Лица Коленшо он не видел, – слишком близкое было расстояние, но когда тот слегка ослабил хватку, Оливеро решил, что драке конец. Он поднялся, и, тяжело дыша, прислонился к стене. Минуту или две Коленшо лежал без движения, затем приподнял голову и, подтянув ноги к животу, замер. Он дышал, как паровоз, – он напомним Оливеро смертельно раненого быка. Убедившись, что мельник не встает, Оливеро пошел назад в помещение мельницы. Присел на пустой ларь у двери и задумался: что бы дальше ни случилось, нельзя оставлять Веточку на произвол этого сумасшедшего. Прошло еще какое-то время, и он заметил, как в дверном проеме показался темный силуэт Коленшо, – тот двинулся к шлюзу: было ясно, что он с каким-то животным упорством намерен довести начатое до конца, – снова запустить машину. И точно: в следующую минуту Оливеро услышал, как вода с ревом устремилась вниз, но, ударившись о неподвижное мельничное колесо, отхлынула и встала, – рычаг был завинчен до упора, колесо не вращалось. Надо освободить рычаг и подождать, пока механизм наберет скорость. Для этого нужно было войти внутрь мельницы, что Коленшо и сделал. Рычаг и привод находи-

лись как раз позади ларя, на котором сидел Оливеро, – протяни руку и достанешь, но Коленшо явно опасался приблизиться к нему. Оливеро догадался, в чем дело, а поскольку мешать не хотел, то махнул рукой: начинай, мол!

Коленшо взялся за рычаг, и рука его на какую-то долю секунды замерла. Это был металлический ломик длиной около метра, с квадратной насадкой на конце, с помощью которой он соединялся с приводом. Рычаг был съемный. Один поворот, и освободившееся мельничное колесо начало медленно набирать скорость. И в ту же секунду Коленшо резко развернулся, занеся ломик над головой. Но Оливеро был начеку: он уловил момент, когда Коленшо стоял как вкопанный, осознав, какие неожиданные преимущества сулит ему металлический лом. Удар – Оливеро пригнулся. Коленшо не рассчитал, и лом слабо звякнул, ударившись о стену за спиной Оливеро. Тот отпрыгнул. По инерции Коленшо вынесло вперед, и на секунду показалось, что он сейчас врежется головой прямо Оливеро в живот. Но тот размахнулся правой ногой и сильнейшим пинком отбросил противника к противоположной стене. Коленшо пролетел через открытую дверь и покатился вниз по ступенькам. Оливеро подскочил было к двери, собираясь захлопнуть ее перед его носом, и тут раздался жуткий вопль. Он выглянул, – на его глазах Коленшо попятился и, не удержавшись на

краю, сорвался в колодец. Оливеро выскочил на площадку, — под ним бурлила ревущая в шлюзе вода. За фонтанами брызг ничего не было видно, и он помчался остановить маховик. Потом назад — на смотровую площадку. Колесо медленно сбавляло обороты. И вдруг, когда в очередной раз обнажились лопасти, из глубины колодца выплыло лицо Коленшо, освещенное луной. Он висел, вцепившись в одну из перекладин, и его по инерции выносило наверх движением остановленного колеса. Когда до края шахты оставалось около метра, колесо встало. Сверху Оливеро было видно, как он снизу посылает ему проклятия. Ведь остановленный маховик теперь свободно вращался вокруг оси и под тяжестью тела Коленшо, естественно, должен был начать опускаться в обратную сторону. Коленшо понимал, чем это грозит, и, видимо, решил, что Оливеро, рассчитав все заранее, умышленно перекрыл воду. Он судорожно пытался замедлить вращение колеса, изо всех сил упираясь в стенки колодца, но ноги его не могли удержаться на скользкой поверхности, а зацепиться было не за что. Вдруг колесо дернулось, пошло вниз; от неожиданного толчка Коленшо сорвался и спиной вниз полетел в бурлящий водоворот. Все это время Оливеро, распластавшись на площадке, пытался дотянуться рукой до Коленшо и помочь ему выбраться. Все произошло на его глазах: он видел падение, слышал крик, потом мель-

ник скрылся во тьме, и его поглотила вода. Оливер бросился назад, через мост, через гумно, потом в обход, — туда, где собирается отработанная вода. Путь был не близкий, — в этом месте реку пересекала искусственная перемычка. Оливеро прыгнул. Вода и здесь бурлила растревоженно, а со стороны мельничного колеса и подавно, — там все было черным-черно. Он пробивался вверх по воде, преодолевая сопротивление потока, шел на ощупь вдоль глухих стен, пока не почувствовал, что его сносит вниз. Вода ревела с такой силой, что, казалось, он оглох; если б не слабо фосфоресцирующая пена, он бы решил, что, вдобавок ко всему, еще и ослеп. Поняв, что дальше бороться бесполезно, он начал продвигаться к низкому берегу. Бред, согнувшись в три погибели, всматриваясь до рези в глазах, — не плывет ли мимо что-нибудь или кто-нибудь? Ничего. Он вдруг почувствовал, что его бьет озноб из-за ледяной мокрой одежды, прилипшей к телу.

Когда он выбрался на берег, у него зуб на зуб не попадал. Он быстро пошел к дому. В очаге на кухне догорали угли, — он быстро скинул с себя сырое платье и, стоя перед остывающим, но еще теплым очагом, досуха растерся полотенцем. Стало теплее. Отжал промокшее до нитки белье и повесил рядом сушиться. Снял висевшее на крючке пальто Коленшо, завернулся в него, придвинул кресло к очагу и не заметил, как задремал.

Он не сомневался, что Коленшо утонул. Едва ли он сумел выплыть, – вода под колесом глубокая, течение очень сильное... Мельница давно замерла; фитили в масляных лампах почти догорели. Было далеко полночь. Утром – часов в шесть, или раньше, придет служанка, а он в доме один, если не считать Веточку. Как он объяснит свое присутствие? И куда делся хозяин?

Впрочем, объяснять ничего никому не пришлось. Часов в шесть он вдруг проснулся. Уже рассвело, но в доме было по-прежнему тихо. Стараясь не наделать шума, он быстро натянул на себя высохшую за ночь одежду, прошел на другую половину и постучал в дверь гостиной. В ответ – ни звука. Тогда он тихонько отворил дверь. Веточка уже встала и, точь-в-точь как описывал Коленшо, стояла, вытянувшись во весь рост, в проеме окна, ловя первые нежные лучи восходящего солнца.

Услышав шум отворяемой двери, она оглянулась, но ни малейшего удивления или волнения не выказала. Оливеро подошел к ней и тронул за руку, удивившись, какая она холодная. «Пойдем на солнце!» – предложил он. Она с готовностью откликнулась, точно по привычке ждала других выражений и другого тона, а когда их не услышала, обрадовалась. Он повел ее не через кухню, а через парадную дверь, выходившую на выгон, в поля, – судя по ржавому замку на двери, этим входом давно никто не пользовался. Солнце еще не взошло,

но от его теплых лучей над лугами, окутанными утренним туманом, уже поднимался пар; на траве блестела обильная роса; в изгороди вспыхивали тончайшие клочки паутины. Они шагали через выгон в сторону реки. Завидя их, кролики бросались врассыпную, и несколько старых ворон, недовольных тем, что их заставили прервать завтрак, каркая, поднялись, в воздух.

Веточка шла рядом с ним, точно фея. Ноги босые, все в росе, лицо поднято к солнцу. Прохладный ветерок играл ее волосами и расправлял складки юбки.

Они уже подошли к реке, и тут Оливеро сказал:
– Коленшо больше нет.

В следующее мгновение он увидел обращенное к нему лицо Веточки, в котором застыл немой вопрос.

– Коленшо умер, – повторил Оливеро. – Он упал в мельничный колодец, и его засосало в водоворот под колесом. Наверно, он утонул.

Веточка ничего на это не ответила. Они уже были далеко от мельницы, – метрах в двухстах ниже по течению. И опять Оливеро отметил про себя, что река по-прежнему течет вспять, по направлению к пустоши.

Вдоль реки бежала зеленая тропинка, – со стороны поля ее было почти не видно из-за высокого берега. Кое-где над рекой нависали ивы: казалось, они ласкают воду ветвями.

На дальнем конце выгона болталась проволочная сетка: она перегораживала речку, чтоб скот не забредал на чужое поле.

В этом месте им нужно было перебраться через разделявшую поля изгородь, поднявшись по деревянным ступенькам.

Помогая Веточке, Оливеро протянул ей руку. Она уже собиралась соскочить по другую сторону изгороди, как вдруг посмотрела вниз и вздрогнула.

Оливеро перевел взгляд на воду.

Там, в искусственной запруде, между берегом и протянутой поперек сеткой, среди высоких стеблей увядших водорослей, плавало тело Коленшо.

Лицо утопленника было обращено вверх: казалось, он смотрит на них. Лоб закрывали мокрые пряди черных спутанных волос, но широко открытые глаза смотрели как живые.

Оливеро много раз на своем веку видел ужас и смерть, – вроде, человек бывалый, но и он в то утро испытал потрясение. Он давно логически рассудил, что Коленшо – утопленник, но когда он внезапно воочию увидел плавающее в реке тело, к нему вернулся весь кошмар, все напряжение последних двенадцати часов, и в сердце его снова разыгралась только что пережитая драма.

А Веточка беззаботно побежала дальше. Он не заметил, как она спустилась с другой стороны изгороди и, не оглянувшись, двинулась вперед. Казалось, она тут же забыла об увиденном.

Бросив последний взгляд на плававший в реке труп, Оливеро спрыгнул вниз и поспешил за Веточкой. Держась поближе к реке, они прошли еще несколько миль, все по фермерским полям да угодьям и, наконец, вышли на пустошь. Река к тому времени превратилась в ручеек.

Как же так? – не переставал удивляться Оливеро. Поток воды сужается и, несмотря на это, продолжает течь вверх? Он делился своими сомнениями с Веточкой, но та не слушала, – шла себе и шла дальше. Оливеро выдохся, – сказывались бессонная ночь и голод, – а спутница его, наоборот, ожила и повеселела на солнце. Они пили воду из ручья, а, дойдя до места, где река раздваивается, устроили двухчасовой привал в тени трех сосен. Тогда-то Оливеро и рассказал Веточке историю своей жизни.

Когда солнце перевалило зенит, они отправились дальше, по ручью, в самую глубь пустоши. Около четырех пополудни они вышли к долине у подножья крутого склона. Перед ними был вход, а выхода не видно. Где-то в глубине долина образовывала круг, и вот там-то в низине у подножья холма река и брала свое начало, а, может, в том начале был ее конец.

Оливеро заволновался: он почти у цели своих долгих поисков! С того вечера, когда он покинул деревню и отправился исследовать течение реки, прошла, кажется, целая жизнь. И вот, наконец, у

него ключ к разгадке. Так вот оно что: река заканчивает свой бег не в многоводном море, а между склонов, среди долин и холмов, в объятиях гор.

Оливеро разулся и, закатав штанины, вышел на середину ручья. Дно под ногами было теплое, ноги немного вязли в мелком нагретом песке. Веточка спустилась следом, и они вместе, бок о бок, пошли по ручью. Берега были заболоченные, повсюду камыши и кусты мирта. Впереди показалось чистое озерцо воды. Это в него впадал ручей, обтекая его кольцом по всему краю. Серединка же оставалась абсолютно спокойной, — ни волнений, ни водоворотов*. Сверху плавали лилии и лютики. Там, наверное, мелко, подумал Оливеро. Только куда же утекает вода? Они все ближе подходили к округлому озерцу. Вода ласкала им ноги. Такая же теплая, как песчаное дно. Они совсем близко подошли к водяному кольцу в том месте, где встречались его начало и конец. За ним, как показалось Оливеро, открывалась чистая гладь серебристого песка. Он нагнулся и стал всматриваться. Хотя издалика песок казался единой массой, это было не так: он состоял из множества легких серебристых подрагивавших шариков: вблизи это напоминало вибрацию ртутных капелек на туго натянутой коже барабана. Вот куда стекает вода, решил Оливеро.

В ту же секунду он увидел, как Веточка ступила в круг: зеленая наядя быстро двигалась к серебрис-

Часть первая

тому острову. Ее затягивало вниз, но она успела оглянуться. Лицо ее преобразилось, оно сияло, как у ангела: она протягивала Оливеро руку. И с ликующим криком, словно ему открылся источник счастья, он бросился за ней, и, взявшись за руки, они вместе ушли под воду.

Часть вторая

Стемнело. В вечеряющем воздухе над пустошью растаяли слова Оливеро. Изложенная ниже история, рассказанная им Веточке во время их полуденной сиесты у ручья под тремя соснами, восстановлена нами позднее, по документам, которые некоторое время спустя были обнаружены в вещах, оставленных Оливеро в деревенской гостинице, и подкреплена архивными данными, которые любезно предоставила Южноамериканская Ассоциация испанистов. Естественно, она получилась намного тяжеловеснее по стилю, чем то безыскусное признание, которое, надо думать, сделал в тот памятный день Оливеро: ведь он, делаясь с Веточкой историей своей жизни, как никто, ясно понимал, что она – частица абсолютно неведомого ему мира. Она никогда не пыталась описать тот – ее – мир, из-за полного несоответствия земных слов ее воспоминаниям. Спроси ее,

растут ли в ее мире такие же деревья, как здесь, или растут ли там вообще деревья, и она, скорей всего, недоуменно покачала бы головой: «Там все другое».

Оливеро тоже тридцать лет прожил в другом мире, где ничто не напоминало мирный пейзаж его детства. Правда, там, как и в Англии, росли деревья, но от белой пыли, покрывавшей листья, они стояли под знойным солнцем, словно гипсовые. У Оливеро было много слов, их хватило бы с избытком, чтоб описать его мир: Веточка тех слов никогда не слышала, а если б даже и слышала, то не поняла бы. Однако ему приходилось пользоваться словами: ведь слова и вещи растут в сознании вместе, покрывая, точно кожицей, нежные образы предметов, – растут до тех пор, пока не сольются воедино. Веточка не понимала слов, они звучали в ее ушах, подобно мелодии, она и воспринимала речь как музыку, поэтому ни одно из слов Оливеро не пропало бесследно в вечернем воздухе.

Итак, начал свой рассказ Оливеро, тридцать лет назад я покинул деревню и отправился в Лондон: это была столица мира, и я надеялся отыскать среди ее чудес и возможностей одному мне назначенное место. Я верил, что на многое способен. Я был честолюбив и хотел доказать, что силой слова смогу увлечь за собой людей: я собирался стать писателем, оратором, публицистом.

Разные бывают слова: яркие, блестящие, заманчивые, завораживающие, – кажется, они радуют глаз и дают пищу для ума, даже когда в них мало или совсем нет никакого смысла. Но я тогда не представлял себе, как трудно добиться, чтобы тебя услышали, заметили в толпе, как нелегко завоевать хоть немного славы и заставить людей прислушаться к твоим словам. Я ходил по редакциям, но меня нигде не брали, зацепиться было не за что. Мне, молодому сельскому учителю, который нигде не печатался и не имел опыта журналистской работы нечего было им предложить.

Я приехал в Лондон с двадцатью фунтами в кармане. Сначала я решил жить на один фунт в неделю; но когда прошло десять недель, а работы я не нашел, я урезал свой рацион до десяти шиллингов в неделю. Прошло еще десять недель, – по-прежнему никакого просвета, и тогда я сократил свои недельные расходы до пяти шиллингов в день, тратя шесть пенсов на ночлег, а на остальные покупая хлеб. Безднадежность полная! Как-то однажды, проходя мимо витрины портного, я заметил объявление такого содержания: «Требуется толковый юноша. Справляйтесь в лавке». Был промозглый ноябрьский день. Я замерз и проголодался. Выбора не было: я вошел в лавку. Прямо передо мной был прилавок, за ним высились полки с рулонами материи. В дальнем углу виднелась лестница на второй этаж, а под ней, за деревянной за-

стекленной перегородкой находилось служебное помещение. Когда я вошел, раздался щелчок, дверь конторы открылась, и ко мне подошел хозяин лавки – мистер Кляйн. Это был маленький человечек с короткой шеей и большой головой. Под круглым подбородком висела складками дряблая, серая кожа; на веках не было ресниц. В его облике было что-то змеиное, – он напоминал то ли пузатую ящерицу, то ли черепаху. Завидев его, я невольно подтянулся. Вообще-то я высокий, а в то время еще сильно исхудал, и вид у меня был измученный; к тому же, я давно не стригся, и отросшие волосы закрывали лоб и уши.

Я объяснил, что пришел по объявлению. В ответ он прищурился и спросил, сколько мне лет. Я сказал «девятнадцать», хотя на самом деле мне было двадцать, но я сомневался, можно ли двадцатилетнего молодого человека называть юношей, поэтому и скостил себе один год.

– Для этой работы вы староваты, – отрезал мистер Кляйн, отмахиваясь от меня, как от надоедливой мухи; руки у него были пухлые, морщинистые.

– Подождите! – взмолился я в ответ. Он уже было повернулся ко мне спиной, но, видно, что-то в моем голосе, полном отчаяния, остановило его, и он удивленно вскинул брови.

Я выпалил:

– Я молод, я голодаю, я готов работать как вол.

– Вы что-нибудь понимаете в цифрах? – задал он мне вопрос, и по акценту я понял, что он иностранец.

– Да, разбираюсь. Я учился в хорошей школе. У нас была математика, – объяснил я, стараясь не завышать уровень своих познаний.

– Математика, говорите? Надо же, математика! – повторил за мной мистер Кляйн, и тут, пожалуй, я впервые убедился в магическом действии слов, точнее, одного слова. – Итак, вы изучали математику. Очень хорошо, может, у нас с вами что-то и получится.

Он задал мне еще несколько вопросов и, в конце концов, согласился устроить испытание. Мне было велено явиться на следующий день в восемь утра.

В тот вечер, помню, я плотно поужинал, и наутро, надев чистый, только что купленный воротничок, предстал перед мистером Кляйном. Накануне я дал ему понять, что умею составлять бухгалтерские отчеты, хотя, на самом деле, я просто что-то смутно помнил об этом со школьных времен. Но я знал, что выйду из положения, благодаря своей сообразительности, и, в конце концов, оказался прав. Мистер Кляйн был польским евреем; в Англию он приехал за несколько лет до того, как мы встретились. На первых порах он работал помощником закройщика, но, будучи человеком способным и самостоятельным, сумел накопить

денег и начать собственное дело. В этом новом качестве он проработал месяцев шесть, причем сам вел бухгалтерию. Но, конечно, для иностранца английская денежная система – это дебри, и он потратил впустую уйму времени, безуспешно пытаясь свести дебет с кредитом. Единственный выход был нанять клерка, и он вывесил объявление о найме буквально за час или два до того, как я его увидел. Собственно, я был первым претендентом, и благополучно пройдя испытание, был взят на работу с окладом один фунт в неделю.

Первый день на службе я занимался проверкой финансовых отчетов хозяина, и, надо сказать, я так поразил его быстротой и уверенностью операций, производимых с колонками фунтов, шиллингов и пенсов, что больше вопросов о моих математических способностях он не задавал. Я же убедился, что моих школьных знаний вполне достаточно для сведения дебета с кредитом в его кассовом журнале и гроссбухе, а большего ему и не требовалось. Еще он попросил меня дать ему подробный анализ затрат, что я и сделал без всяких затруднений. Так что через пару недель между нами установились доверительные отношения, и мне даже поручили вести кассу.

Не буду вдаваться в подробности моей тогдашней жизни. Скажу только, что постепенно поняв, какие пружины движут торгашеским умом польского еврея, я даже проникся к нему теплым чув-

ством как к жертве расовых притеснений, ставших главной причиной его переезда в Лондон и желания самоутвердиться. Я узнал, например, что он сильнейшим образом привязан к семье. В Польше у него жили мать и две сестры. Он поставил перед собой цель во что бы то ни стало перевезти их в Англию, и для этого копил средства на дом. Он хотел, чтоб это был не просто дом, а новое семейное гнездо, которое укрепило бы их положение в обществе и воссоединило бы семью, где бы он стал главой, как и подобает мужчине. Удалось ли ему осуществить свою мечту, я так и не узнал. И потом, в глубине души, я терпеть не мог закоптелую лавку, затхлый запах материи, стойкую вонь прогорклого масла в убогом квартале, рутинную неинтересную работу, которую вынужден был выполнять, чтобы не умереть с голоду, — словом, всю эту нищенскую обстановку. Вообще бедность унижительна для каждого; для человека же творческого, чье существо жаждет красоты и пищи для чувств и ума, ищет музыки, поэзии и любви, — для такого человека нищета превращается в медленную пытку, пытку больше душевную, чем физическую, и оттого еще более нестерпимую. Бывали минуты, когда, проходя мимо театра или книжного магазина, я чувствовал, как к горлу подступает желчь. Я завидовал каждому, кто мог себе позволить беспрепятственно насыщать зрение и слух, кто воспринимал

такое пиршество ума и сердца как обыденность, как часть этикета или семейной традиции, не испытывая в этом потребности, в то время как меня она терзала постоянно. Я не то чтобы выступал против общества, где материальное неравенство, увы, в порядке вещей. Скорее, для меня это был вопрос индивидуальной позиции, и власть я рассматривал как средство обладания духовными ценностями. Возможно, в этом вопросе я недалеко ушел от своего работодателя, только я не был таким практичным и последовательным, как он. Мистер Кляйн знал, что получить право обладания можно только в обмен на вещественные доказательства достатка, а они достигаются усердным трудом. Вот он и отдавался без остатка процессу накопления этих самых вещественных доказательств. Я же хотел добиться власти незамедлительно, рассчитывая только на себя, свой ум и талант, поэтому не находил себе места. Я решил уехать – попытать счастья за границей.

Мой договор с мистером Кляйном был рассчитан на три года. Следуя условиям этого договора, он дважды увеличивал мой оклад, сначала до тридцати шиллингов в неделю, а затем до двух фунтов. В течение двух последних лет я что-то откладывал и сумел накопить в общей сложности сорок фунтов. Вот с этой суммой я и рассчитывал, по истечении контракта, отправиться покорять мир.

Вначале я подумывал об Америке: столько молодых людей примерно в таком же положении, как я, нашли себе там применение. И все же, при всех моих романтических устремлениях, было в том плане одно «но»: я плохо представлял себе, как борьба с природной стихией могла бы удовлетворить мои творческие порывы. По складу характера я не первопроходец, мне больше по душе те страны и города, где длительный культурный опыт человечества оставил богатое наследство в виде произведений искусства и философской мысли. Чаще всего я грезил об Италии, Греции, Испании, а если уносился мыслями куда-то далеко, то к загадочному Востоку, Индии и Китаю. Так получилось, что именно мистер Кляйн дал толчок моим странствиям. Мне кажется, он видел, как я маюсь, и, когда я поделился с ним своими планами попытать счастья за границей, он не просто выказал сочувствие, но и дал мне поручение, благодаря которому я оказался в самом центре Европы. Сестры писали ему регулярно, так что причин волноваться за семью у него не было. Но мать писать не умела, а он хотел переправить ей деньги, — около ста английских фунтов: сумма по тем временам не маленькая, и почтой отправлять ее было небезопасно. Мать его жила в городке к югу от Варшавы: вот туда-то и предложил мне отправиться мистер Кляйн. Все дорожные расходы он брал на себя, а мне в придачу положил десять

фунтов, – на тот случай, если, выполнив поручение, я решу двинуться дальше. Я без колебаний принял его предложение: за три года лондонской жизни я не приобрел близких друзей, и с Англией меня ничто, абсолютно ничто не связывало. Мы начали обсуждать наш план в октябре, и вначале мистер Кляйн предложил мне отложить поездку до весны, – в теплое время года путешествовать гораздо приятнее. Но мне так не терпелось поскорей отправиться на поиски приключений, что подобное промедление казалось невыносимым, и вот одним ноябрьским днем, спустя почти три года после того как я появился в лавке мистера Кляйна, я уехал из Лондона в Варшаву.

Мне не было резона мешкать в пути. В поясе, собственноручно изготовленном моим хозяином, были зашиты золотые монеты. Поездов в те дни было мало, шли они медленно, удобств практически никаких, а я, как вы понимаете, ехал самым дешевым классом. Тем не менее, никакие слова не могут передать интерес и волнение, которое я испытывал на каждом этапе путешествия: вот скрылись из глаз берега Англии, мы в открытом море; вот я сошел на берег в Гамбурге, вокруг слышна иностранная речь, мелькают чужие лица; что за странные привычки у моих соседей по diligansу, направляющемуся в Любек; сколько шума и интереса вызывает каждый новый попутчик! Я сидел тихо и молча наблюдал за происходящим

со своего углового места в дилижансе. Мне не давала покоя мысль о поясе под рубашкой. Спал я урывками. Наконец, добрались до Любека, и здесь я сел на судно, курсирующее вдоль берега, и очутился в Данциге, а оттуда отправился на лодке вверх по Висле. Дальше водный путь был закрыт: верховье реки замерзло. Последнюю часть пути я проделал на санях, запряженных маленькими мохнатыми пони. В Варшаве стоял жуткий холод; накануне выпал снег, и накрытые белым пушистым одеялом дома и улицы, казалось, сошли с картинок книги волшебных сказок. Впрочем, мне было не до сказок: действительность оказалась куда страшней. Я пошел на городскую площадь, чтоб найти дилижанс до города N, где жила мать мистера Кляйна, а там собралась огромная толпа. Мне стало интересно, и я решил подождать вместе со всеми. Вдруг людская волна всколыхнулась, поднялся ропот, и я увидел, как на противоположной стороне площади появился вооруженный конный отряд с пиками наперевес и ружьями за спиной. За ними следовала повозка, запряженная четверкой лошадей, с двумя вооруженными всадниками по сторонам; замыкали процессию два пешех солдат с ружьями. На повозке был установлен помост, и на этом помосте, на скамье, сидел осужденный, — бедный, несчастный, всеми отверженный. На нем были шапка и шинель, вокруг шеи на веревке болталась дощечка с надписью,

сделанной черными буквами. Я не мог разобрать надпись, а спросить окружающих меня людей не решался. Да и так все было ясно: солдаты вели на виселицу осужденного преступника. Из толпы раздались злые выкрики и насмешки, но заключенный не обратил на них внимания. С холодного свинцового неба падали редкие снежинки; среди общего молчания процессия двигалась вперед по свежевывавшему снегу.

Польского языка я не знал, и предусмотрительный мистер Кляйн снабдил меня письмом, чтоб в случае затруднений я мог дать его почитать вызывающему у меня доверие человеку, объяснив, что я англичанин, еду в город N и прошу мне помочь. Я также заранее выучил несколько слов по-польски, так что без особых сложностей нашел дилижанс и добрался до заветного городка. Дом Кляйнов находился на окраине, но и его я отыскал без труда. Вот когда мнегодились сопроводительные письма! Ведь без них я не сумел бы объяснить вышедшей на стук женщине (как оказалось, одной из двух сестер мистера Кляйна), кто я такой и зачем пожаловал. Меня провели в темную кухню, там в углу у громадной изразцовой печи сидела старуха с морщинистым лицом. Явно глухая, она что-то невнятно бормотала, но меня быстро увели в спальню, которая, как я понял, предназначалась для гостя. Я умылся с дороги, привел себя в порядок и пошел обратно в кухню. Там я

выложил на стол пояс с зашитыми монетами, не скрывая облегчения и удовольствия от того, что без приключений, в целости и сохранности доставил ценный груз по назначению. Старуха тут же оживилась, придвинула стул к столу и начала ножом ковырять пояс. Узловатыми пальцами она вынимала одну за другой золотые монеты и аккуратно складывала их в столбики. И вот, наконец, все до последнего фунта извлечено и пересчитано, – тут старуха обратила на меня свой взор, поднялась со стула и заковыляла к тому месту, где я сидел. На какую-то долю секунды мне стало страшно. Она подошла, обхватила ладонями мою голову и поцеловала в лоб: так она меня благодарила. Потом достала шелковый платок, сложила в него монеты и заковыляла наверх. Тем временем ее дочь (я видел только одну из дочерей и решил, что другая вышла замуж и живет отдельно) готовила угощение. За ужином женщины что-то оживленно обсуждали между собой, казалось, совершенно позабыв о моем присутствии, – только иногда улыбались и подкладывали мне еду. Я прожил у них три дня: отдыхал с дороги, размышляя, но так и не решил, что предпринять дальше.

В то время из иностранных языков я знал только французский, но ехать во Францию мне не хотелось. Я решил для начала вернуться в Гамбург и там осмотреться. Попрощался с Кляйнами, доехал до Варшавы и оттуда, по старым следам, без всяких

осложнений, отправился в обратный путь. В дороге я перебрал в уме, кажется, все мыслимые способы заработать, но не придумал ничего лучшего, как давать иностранцам уроки английского, – это я умел и, к тому же, твердо решил осесть за границей. Судьба, однако, распорядилась иначе. В Гамбурге я обратился за советом к английскому консулу: как мне лучше добраться до международной столицы – Парижа или какого-то другого европейского центра? Он оказался отзывчивым человеком, с интересом выслушал меня и предложил вместе поужинать. В общем, благодаря его содействию, меня взяли на торговое судно, которое курсировало между Бордо* и Марокко**. По договору я платил капитану двести пятьдесят марок (половину суммы, которой я располагал) в счет аванса, – если я не вернусь из плавания, аванс пропадает. Капитан – мой соотечественник, англичанин, – брал меня в качестве казначея и стюарда.

Надо сказать, он остался мной доволен, хотя опыта у меня не было. Он, да еще первый помощник, были единственными англичанами на борту (не считая меня, разумеется), остальная команда была пестрая: поляки, индийцы и немцы. Поначалу мне так понравилась моя должность, что я решил годик или два поплавать, несмотря на неудобства корабельной жизни: глядишь, и выучу между делом два-три основных

европейских языка. Во всяком случае, еще в Бордо я так и рассчитывал поступить, хотя нас сильно потрепало в Бискайском заливе*. Но когда через три-четыре дня мы достигли порта Кадис**, я вдруг заколебался. Атлантический шторм остался позади, мы обогнули мыс Сент-Винсент*** и вошли в бухту Кадиса: погода стояла чудесная, в глубине голубой бухты лежал ослепительный город, в небо поднимались белоснежные башни. Этот вид меня очаровал, а сойдя на берег, я и вовсе пришел в восхищение, — мраморная мозаика улиц, мощные крепостные валы, широкие бульвары. В памяти жителей еще жива была горечь недавних войн****, так что особых причин оказывать гостеприимный прием англичанину у них не было. Меня же обуюл романтический восторг от встречи с нашими старинными недругами, тем более что никакой ненависти я не замечал, — наоборот, на каждом шагу я встречал только веселье и беззаботность. Это ли не идеальная жизнь? Мне вдруг расхотелось плыть дальше. Я решил сойти на берег и попытаться здесь счастья, тем более что денег на первое время мне должно было хватить.

Узнав о моем дезертирстве, капитан поначалу пришел в ярость. Аванс я, естественно, потерял. Но когда я со своими пожитками уже сходил на берег и мы стали прощаться, он сменил гнев на милость и даже дал мне рекомендательное пись-

мо к одному из севильских купцов на случай, если негде будет устроиться.

Однако судьбе было угодно, чтоб я на долгие месяцы застрял в Кадисе. Не зная языка, не представляя политической ситуации в стране, куда меня занесло почти случайно, я попал в ловушку. Наверное, это было неизбежно. Сойдя с корабля, я направился на постоялый двор, куда обычно захаживали матросы, оставил там вещи и отправился бродить по вечернему городу. Вдыхал непривычные запахи, наслаждался экзотикой, вслушивался в незнакомые звуки. На постоялый двор я вернулся около полуночи и прямо на пороге меня схватили трое мужчин в военной форме. Судя по интонации, на меня обрушился поток брани, — особенно упражнялся один, вероятнее всего, низший по чину. Хотя я не понимал ни слова, но сообразил, что арестован и меня ведут в участок.

Спротивляться было бесполезно. Я заметил, что хозяин постоялого двора, толстый противный старик, — бывший боцман, — поглядывает на меня осуждающе, а один из солдат завладел моим рюкзаком, который я оставил несколькими часами раньше в своей комнате. В замешательстве я пошел к выходу. Помню, как меня вели по ночным пустынным улицам, потом втолкнули в какое-то темное мерзкое помещение: то ли барак, то ли крепость. Так я очутился в пустой комнате, точнее, тюремной камере. Ни кровати, ни стула: ка-

менный пол. Пытаясь согреться, я почти не сомкнул глаз, шагая взад-вперед по камере. Только притулюсь в уголке, засну, а сырость и холод уже снова гонят меня прочь. Так и прошла ночь.

Я проторчал там до полудня. Потом за мной пришли и повели на допрос к офицеру. Он равнодушно посмотрел на меня и бросил что-то по-испански. Я решил, что он спрашивает, говорю ли я по-испански, ответил по-французски, что испанского не знаю, и стал умолять его объяснить мне по-французски причину моего ареста.

Вместо ответа он повернулся к сидящему рядом офицеру и с ухмылкой сказал что-то по-испански. Потом бросил: «*Vous etes francais?*»¹ – из-за сильного акцента я едва разобрал слова. Нет, возразил я, я англичанин. «*Et Jacobin*»², заключил он. И предъявил мне мою собственную книгу, сочинения французского писателя Вольтера, которые я почитал за образец остроумия и мудрости и постоянно перечитывал.

Тут мне все стало ясно. В течение многих лет Кадис был революционным очагом Испании*. Именно здесь в 1812 году заседали Кортесы**, которые приняли первую либеральную конституцию. Именно здесь восемь лет спустя, в 1820 году, жители подняли мятеж, требуя возобновления действия конституции, и это стало началом рево-

¹ Вы француз? (фр.).

² И якобинец (фр.).

люции в Испании. И хотя восстание было подавлено армией французов под предводительством герцога Д'Ангулема*, в Испании не удалось искоренить анархистов и военную оппозицию. Обо всем этом я был наслышан, но, по своей наивности, не представлял себе масштабов слежки и шпионской деятельности и уж конечно не думал, что несколько книг, взятых в дорогу, полиция расценит как революционную пропаганду.

Хотя я не занимался политической деятельностью, по своим убеждениям я был либерал. Из писателей я предпочитал Вольтера, Руссо и Дидро. Мне импонировали их просвещенная философия и отточенный стиль. Я был знаком и с другими сочинениями революционного свойства, например, трудами Вольenea и Монтескьё** необходимость. Поэтому, когда меня спросили в лоб: «Вы – якобинец?», я замешкался. Стал объяснять, что с якобинцами никак не связан и политикой вообще не интересуюсь. Но чем дальше, тем все больше мое красноречие смущало офицера, и он прервал меня вопросом: «Ce livre est a vous?»¹

Отпираться не имело смысла. И хотя доказательства выглядели неубедительно, – подумаешь, книги! – возразить мне было нечего. Я знал, что среди служителей церкви и реакционеров Вольтер слывет сатаной номер один: он первым стал распространять якобинские идеи. Меня душили

¹ Это ваша книга? (фр.).

негодование и ярость, — я не мог выговорить ни слова в свою защиту. «Basta!» — крикнул офицер и отдал приказание по-испански. Меня тут же вывели из комнаты и снова поместили в одиночку. В тот же день меня перевели в общую камеру, где находилась сотня заключенных, не меньше, — воры и мошенники вперемешку с политическими. Мы сидели буквально на голове друг у друга; грязь и шум царили неопишуемые; охранников не хватало, и в таких условиях уследить за всеми заключенными было невозможно даже до зубов вооруженным солдатам.

Два года, без малого, провел я в камере. Сколько раз пытался объяснить, сколько раз пробовал добиться пересмотра дела! Все впустую. До тех пор, пока я не освоил местный язык и не начал общаться с охранниками, об апелляции не могло идти и речи. А когда, после нескольких месяцев упорнейших тренировок под руководством сокамерников, я смог изъясняться доходчиво и убедительно, надобность в пересмотре дела отпала: за давностью срока и отсутствия с моей стороны жалоб, вина моя считалась доказанной, и дело было закрыто.

Долгие месяцы, проведенные в кадисской тюрьме, определили мое будущее. Я не только поднаторел в испанском — я сблизился с несколькими сокамерниками из числа так называемых якобинцев, в недавнем прошлом соратни-

ков знаменитого мятежного генерала Рафаэля дель Риего*. Я, по-моему, уже признавался, что всегда сочувствовал их взглядам, – это и стало отправной точкой нашего общения. Когда в одном человеке сходятся честолюбие и нищета, трудно ожидать другого развития событий. Правда, на этот раз я столкнулся с политической реальностью. Я узнал из первых уст о том, как в Испании боролись за установление справедливого порядка; узнал о разгроме восстания Риего и о ненавистном правлении Фердинанда. Мы много говорили об освободившихся колониях на восточном побережье Северной Америки и о возможности создания на американском континенте нового мира, свободного от несправедливости и подавления. Мои собеседники вовсе не были альтруистами. Среди них было немало во-як-авантюристов, и хотя они непонятно зачем нахватались кое-каких якобинских идей, я не сомневался, что если они когда-нибудь придут к власти, их режим будет столь же деспотичным, что и при правящей монархии. Впрочем, среди моих новых знакомых было два-три человека совсем другой породы: их юность совпала с Французской революцией, и они на всю жизнь прониклись идеями свободы, равенства и братства. Благодаря им, мои туманные мечтания обрели силу и четкую направленность; короче говоря, они обратили меня в свою веру.

По случаю смерти Фердинанда и начала правления Королевы*, в стране была объявлена частичная амнистия, и меня освободили. Еще в тюрьме я решил, что, как только выйду на волю, при первой возможности уеду искать счастья в освободившихся колониях**, благо мне удалось сохранить двадцать английских гиней тем самым способом, какому меня научил мой прежний работодатель, — зашив их в подкладку жилета. С их помощью я надеялся добраться до Буэнос-Айреса или Рио-де-Жанейро, если, конечно, не подвернется какая-нибудь работа. Выйдя на свободу, я сразу взялся осуществлять свой план.

Я не буду пересказывать все перипетии моего путешествия: это заняло бы слишком много времени. В Кадисе я нанялся матросом на судно, которое под испанским флагом занималось самым настоящим разбоем: мы брали на abordаж английские торговые шхуны, возвращавшиеся из восставших колоний. На самом деле, флаг и название были не при чем, — мы вели себя, как пираты: команда наполовину состояла из бывших заключенных той тюрьмы, откуда я только что вышел. Начали мы с того, что удачно зацепили два английских судна, направлявшихся в родной порт, и сняли с них весь ценный груз. И тут нас спугнула неизвестно откуда взявшаяся шхуна: она стала нас преследовать, а поскольку шла на легке, держа курс на колонии, и водоизмещением

превосходила наше судно, то без труда догнала нас. Обменявшись парой выстрелов, мы сдались, и ходить бы мне в кандалах, как остальным членам команды, не открой я капитану, кто я по национальности и как оказался на пиратском корабле. Мне повезло: капитан-англичанин поверил моему рассказу, и я сделался посредником-толмачом его сношениях с захваченным «испанцем». Вместе с капитаном другого английского судна, проходившего мимо, они составили конвой и препроводили пленников в Буэнос-Айрес, где и передали в руки властей. Я помогал капитану-англичанину вести переговоры, а когда все закончилось, попросил его отпустить меня. В ответ на мою просьбу он предложил мне место матроса на своем корабле, но я твердо решил попытать счастья в колониях и, видя мою непреклонность, он не стал меня задерживать, пожав на прощанье руку.

На берег я сошел под вечер. Ища, где переночевать, решил снять комнату поближе к порту. Я сторонился центральных улиц, – там все было дорого, и меня могли принять по виду за бродягу, поэтому я выбрал параллельную, малолюдную улицу, которая, как мне показалось, шла вдоль берега реки в сторону городского центра. Пейзаж был унылый, – особенно после Кадиса: всюду плоские крыши, дома, похожие один на другой. Мне вдруг сделалось одиноко, и я почувствовал

себя беспомощным. Улицы будто вымерли, да тут еще пошли сараи и причалы, – в общем, я порядком измучился, пока дошел до населенных кварталов. Дома большей частью были традиционно испанского типа: на улицу выходит глухая стена за металлической оградой; в редких случаях через открытые ворота виден уголок яркого, украшенного цветами patio¹. Никакого намека на гостиницу, тогда я решил поискать кофейню, надеясь, что за едой и выпивкой наведу у хозяина справки о местных гостиницах.

Едва мне пришла в голову эта спасительная мысль, как я заметил, что стою перед зданием, мало похожим на окружающие: входная дверь была отперта и вела она не в patio, а прямо в комнату, освещенную подвесной лампой. Из мебели мне бросился в глаза только грубо сколоченный стол: за ним сидела мужская компания, пили вино. Уже после, вспоминая эту сцену, я задавал себе вопрос: почему меня не остановило хотя бы то, что у всех, сидевших за столом, были серьезные и напряженные лица? Полагаю, в тот момент, – а я смертельно устал и проголодался, – меня ввел в заблуждение сам тип заведения: я принял его за обычную распивочную, каких полно в Кадисе, как и по всей Европе. Поэтому я туда и зашел. Если вы хотите разобраться в том, что произошло дальше, вам придется представить, как я выглядел в тот вечер.

¹ Двор (*Исп.*)

От долгого заточения я сильно исхудал, щеки ввалились, глаза казались неестественно большими и темными. Я купил себе сомбреро; на мне была темно-коричневая рубашка, на шее – красный платок; через плечо перекинута свернутое в рулон одеяло – взамен пальто; в руке я нес котомку с пожитками. По тамошним меркам – самый обычный вид. Вот почему никто не обратил на меня внимания, пока я не появился в ярко освещенной комнате. Я было замешкался, не зная, к кому обратиться с вопросом. Только заговаривать ни с кем не пришлось: едва меня заметили, как поднялся шум, и все повскакали с мест. Все наперебой здоровались со мной и, наконец, усадили во главе стола. Меня не покидало ощущение, что я попал на какое-то собрание, возможно, оттого, что вся публика обращалась ко мне подчеркнуто вежливо, даже уважительно. Передо мной поставили стакан и наполнили его вином.

Я видел, что от меня чего-то ждут, но продолжал с беззаботным видом потягивать вино. Казалось, прошла целая вечность, – все молчали. Молчал и я. Наконец, кто-то из сидевших напротив задал вопрос:

– Сеньор доволен своим путешествием?

Я медленно поднял взгляд, решив отвечать самыми общими фразами.

– Да, – ответил я, – милостью божьей я добрался благополучно.

– Вы прибыли английским судном, которое бросило якорь в порту сегодня утром?

– Именно.

– Мы ждали вас вчера вечером прямым рейсом из Кадиса.

– Я и плыл из Кадиса, но морские пути редко бывают прямыми.

До этого момента я отвечал наугад, скорее, из вежливости. Но когда прозвучали первые вопросы, и я на них ответил, я вдруг почувствовал, что ступил на какую-то неведомую тропу, которая может завести меня куда угодно. Я вдруг проникся сознанием своей судьбы – впервые в жизни эта темная сила, что зовется судьбой, влекла меня к чему-то неподвластному человеческой воле, заставляя подчиниться заранее определенному ходу событий.

– Хорошо, – заметил мой собеседник. А затем, будто вторя моим мыслям, добавил: – Против судьбы и стихия бессильна.

Снова воцарилась тишина, все пили молча. Затем все тот же человек сказал:

– Вы проведете в этом доме пару дней, отдохнете, а мы все для вас устроим. К этому времени подъедут проводники из Ронкадора*. Путешествие по реке занимает много недель, – мы советуем вам ехать верхом, в этом случае дней через двадцать вы доберетесь до цели. В горах вы встретитесь с революционным отрядом генерала Сантоса. Остальное – на месте.

Пока он объяснял, я припомнил самое существенное, без чего невозможно было разобраться в том лабиринте, куда завел меня слепой рок. Из разговоров с сокамерниками по кадисской тюрьме я более или менее представлял себе общее положение дел в Южной Америке. Излюбленной темой для пересудов в колониях, зависимых от метрополии и подчинявшихся либо наместникам-тиранам, либо военным, была коррупция, процветавшая на родине, в Испании (кстати, масштабы этого зла часто преувеличивали). Легко догадаться, что среди приезжих и местного населения годами вызревал дух недовольства, с которым Испания, увы, справиться не могла из-за угрозы иностранного вторжения и гражданских беспорядков внутри страны. Последним актом, завершившим падение Империи*, стало вторжение Наполеона на Пиренейский полуостров. Для отдаленных провинций оно прозвучало сигналом к действию: настало время утвердить свою независимость и сотворить новый мир. Но хотя идеи Французской Революции давно проникли в американские колонии, активность большей частью развивала местная милиция, и в итоге власть в новых республиках оказалась в руках военных, с которыми регулярные испанские войска быстро вступали в союзнические отношения. Почти все революции в колониях были бескровными, но миром дело не кончалось. Хунтой, как

правило, командовал диктатор, — человек темный и неговорчивый; в результате все до единой колонии раздирали внутренняя борьба за власть. В каждой стране имела своя горстка идеалистов, которые жили принципами республики и только ждали случая изменить политику страны на благо ее граждан. Чаще это были мелкие торговцы, выходцы из Европы, или крестьяне; у них не было задатков настоящих лидеров, и поэтому их всегда использовали неразборчивые в средствах авантюристы, большей частью, адвокаты по профессии: они завидовали военным диктаторам, в особенности их могуществу, и, стремясь обеспечить себе поддержку для того, чтоб сместить диктаторов и самим заполучить власть, они готовы были на словах провозглашать идеи революции.

Но те, кого я встретил в Буэнос-Айресе, не относились ни к одной из известных мне категорий, — это я понял уже позже. Их группа была организована по типу общества якобинцев; они поставили себе цель обратить весь континент, всю Южную Америку в революционную веру, а затем объединить все бывшие колонии на федеративных началах в одну республику. Поэтому члены группы тесно взаимодействовали с революционерами в Испании, рассчитывая, что их коллеги будут поставлять им своих опытных агентов, а те, в свою очередь, будут готовы встать во главе политичес-

кого движения. Мне так и не суждено было узнать, благодаря какой цепи совпадений они решили, что я – именно тот, кто им нужен. Я принял свою судьбу, не дав им повода усомниться в моей преданности.

В тот вечер старший в группе, – остальные обращались к нему «дон Грегорио», – много расспрашивал меня о положении в Испании, особенно о Кадисе, откуда он эмигрировал после провала восстания дель Риго*. На все вопросы я отвечал обстоятельно, со знанием дела. Мне повезло: среди моих бывших сокамерников были такие, кого в прошлом дон Грегорио хорошо знал, и в разговоре мы, естественно, вспомнили его старых друзей. Наконец, спохватившись, – час был поздний, и я валился с ног после долгой дороги, – дон Грегорио предложил мне пройти в приготовленную для меня комнату, что я сразу и сделал, обрадовавшись возможности побыть в одиночестве и обдумать, как быть дальше.

Промаявшись несколько часов, потеряв голову от обуревавших меня сомнений и тревоги, но так и не решив, что делать, я наконец заснул. Спал я долго, но чутко, то и дело просыпаясь от страха и беспокойства. Мне снились жуткие кошмары, и только под утро я уснул покойно и глубоко, а проснувшись наутро, понял, что кошмары остались позади: голова была ясная, и решение созрело. Я рассудил, что если откажусь от роли, которую сам

выбрал, это будет низостью по отношению к Провидению, направившему меня по этому пути, и потом, если все хладнокровно взвесить, я становлюсь на очень опасную дорожку. Если я откроюсь, мне придется признаться в том, что накануне вечером я их обманул, а последствия этого саморазоблачения непредсказуемы. Если я решусь бежать, мне придется заранее оценить степень мстительности доведенных до отчаяния людей, которые не остановятся ни перед чем и, уж конечно, не потерпят существования в своих рядах предателя. К тому же, я понимал, что шансы на побег у меня невелики: ведь в городе я был чужой, без ясного плана действий и малейшего представления о том, где можно укрыться или куда направиться потом.

Взвесив все «за» и «против», я решил пойти на риск и доиграть ту роль, что уготовила мне судьба. Я встал, умылся, оделся и сошел вниз. Комната была пуста: ничто не напоминало о шумном собрании накануне вечером. На мой зов вышла старуха, — она подала мне кофе и хлеб. Я не стал ее расспрашивать, решив подождать. И действительно, около полудня появился молодой испанец, в котором я признал одного из вчерашних революционеров; его сопровождал местный гаучо*. Последний должен был стать моим проводником до Ронкадора. Его представили мне как незаменимого слугу: с ним я могу обсудить подробности

предстоящего путешествия, покупку необходимого снаряжения, еды и прочее.

Это был опытный верховой почтальон, объездивший всю страну и знавший каждую тропинку и каждое ущелье. Надежный, хотя и не забывавший о собственной выгоде. Я сразу понял, что со временем смогу ему довериться, и чтобы расположить его к себе, дал ему достаточно золота на покупку седла, пистолетов, других предметов первой необходимости, заранее оговорив условия: если он постарается, то может рассчитывать на щедрое вознаграждение. В разгар наших приготовлений появился дон Грегорио: дав несколько ценных советов, он пригласил меня отобедать. Жил он неподалеку, в симпатичном доме с patio, или, по-нашему, внутренним двориком. Его семья – жена и двое детишек – была уже в сборе, когда мы пожаловали, и мы сели обедать. Стол был обильный, еда отменная: первый раз за последние два года я поел так вкусно. За столом речь о делах не шла, зато после, когда семья удалилась на послеобеденную сиесту, дон Грегорио повел меня в свою библиотеку. Там было прохладно и уютно: стол, кушетка, глобус, на полках – две-три сотни томов, в основном политического или юридического содержания. Он подошел к книгам и, беря то одну, то другую, стал интересоваться моим мнением. Потом ушел, оставив меня отдыхать на кушетке среди книг.

Мой отдых прервали около четырех или пяти часов пополудни. Дон Грегорио зашел сказать, что завтра на рассвете мы с проводником отправляемся в путь, и сейчас у меня есть время сделать последние приготовления, а вообще надо пораньше лечь спать, чтоб хоть немного выспаться. Он любезно вызвался показать мне лучшие магазины и готов был открыть для меня свой кошелек, если потребуется. Но я плохо представлял себе, что мне может понадобиться в предстоящем путешествии. Карманный компас, несколько карандашей, бумага, кое-что из одежды, – вот все, что было куплено в последний вечер. Дон Грегорио проводил меня до места моего ночлега, и там мы попрощались. Он передал на словах братские приветствия генералу Сантосу и научил нехитрому способу связываться с ним или с кем-то из членов Общества в Буэнос-Айресе.

Ровно в четыре, еще затемно, меня разбудил гаучо. У ворот уже ждала почтовая лошадь под седлом, с навьюченным снаряжением. Сунув в переметную суму свою пожитки, я не без волнения вскочил в седло. Хотя я с детства привык к верховой езде, но в последние несколько лет мне не представлялось случая поупражняться, а уж на большие расстояния и вовсе никогда не приходилось ездить верхом. Поэтому я немного нервничал. Рассвет только-только занимался, улицы Буэнос-Айреса были пусты, и в тишине раздавалось

гулкое цоканье копыт наших лошадей. От проводника я узнал, что в день нам предстояло покрывать расстояние от шестидесяти до восьмидесяти миль, и попросил его не гнать первые два дня, а дать мне привыкнуть. Впрочем, до первой почтовой станции, в двадцати милях от города, мы добрались довольно быстро, и я не устал, так что мы решили, не задерживаясь, двигаться дальше. В общей сложности в тот день мы проделали сорок три мили и заночевали на почтовой станции. Под этим громким названием скрывалась жалкая, крытая соломой хижина, где путникам предлагали для ночлега гамаки из высушенных шкур, а на ужин – кусок жареной или отварной говядины и невыразительный напиток, почему-то именуемый жителями той страны «чаем». На каждой почтовой станции нас ждали свежие лошади, благо вокруг в пампасах их паслись бесчисленные табуны: отобрать пару скакунов не составляло труда. Лошади были необъезженные, почти дикие, и по резвости далеко превосходили английских верховых лошадей.

Тот памятный поход все еще свеж в моей памяти. Незнакомая страна – столько интересного и необычного! Необъятные, поросшие травой пампасы однообразны, в них нет ландшафтной или растительной «изюминки», но сам масштаб этой нескончаемой, абсолютно плоской равнины поражал воображение, даже подавлял чужестранца.

Вдоль дороги, по которой мы мчались, росли травы-великаны: в небо уходили гиганты-чертополохи, простирая над нашими головами изогнутые ветки. Переходя с места на место, по равнине тучами двигались стада; буквально из-под копыт улепетывали в разные стороны олениа и страусы; откуда ни возмись, на дорогу выскакивали, ошалев от оглушительного топота копыт, зверушки помельче: броненосцы в кольчужках, бородастые *biscachos*¹, и через каждые несколько сот ярдов вверх взмывала вспугнутая нами стайка куро-паток.

Людей я помню не так отчетливо: видимо, последующие драматические события стерли их лица из моей памяти. А вот их радушие не забылось: где бы мы ни останавливались, нас встречали гостеприимные хозяева, — станционные смотрители, фермеры, бывало, и священники. Меня всюду беспрепятственно пропускали, принимая за торговца или золотоискателя, я же со своей стороны держался вежливо и чуть отстраненно. По дороге мы только дважды останавливались на сутки в крупных городах, а всего за двадцать дней преодолели тысячу двести миль, и до конечной цели нам оставался только день пути. Мы спешили у подножья горной гряды, простиравшейся в обе стороны, насколько хватало глаз. Поблизости находилась деревня, населенная исключительно

¹ Вид грызунов, обитающий в Южной Америке.

индейцами, а дальше дороги не было. С востока, со стороны гор, доносился непрерывный глухой шум естественных каскадов и величественных водопадов, в которые превращалась река, проходя через горную цепь, – та самая река, что на протяжении всего нашего пути бежала в стороне от нас, всего в каких-нибудь пятидесяти милях. Дорога на Ронкадор лежала через горы, к западу от водопадов, через скалы и ущелья.

Пока мы ехали, я о многом передумал, часто оставаясь наедине со своими мыслями: проводник мой не отличался красноречием, хотя попугчик он был приятный, надежный и преданный. Ему было известно, что у меня какое-то политическое задание, но подробности его совершенно не интересовали. Он питал стойкую ненависть к «испанским грандам», – так здесь называли угнетателей, представителей метрополии, – и по своим убеждениям был скорее радикал, чем идеалист. Он мало что мог сказать о стране, куда мы держали путь: ему случалось бывать в Ронкадоре в качестве проводника или курьера, но подолгу он там не жил. Так что он не мог добавить ничего существенного к информации, полученной мною от дона Грегорио.

Итак, мои знания сводились к следующему. Ронкадор – бывшая испанская колония, одна из самых маленьких. Расположена на высокогорном

плато и по величине сравнима с Ирландией. Страна целиком сельская; единственное, что определяет ее экономику и политику – это ее география. Впрочем, этой самобытной страны не существовало бы, если бы не деятельность иезуитов. Еще в начале семнадцатого века они разведали этот плодородный край, учредили там миссию, обратили всех жителей в христианскую веру и приучили к оседлой жизни индейское племя гуарани*, – прежде туземцы вели в основном кочевой образ жизни, – привили аборигенам основы земледелия и торговли, научили ремеслам: как изготавливать обувь, плотничать, строить дома. Целых сто пятьдесят лет они определяли судьбу ими же созданной общины, и хотя, конечно же, эксплуатировали индейцев во славу своего ордена, все же надо признать: учрежденный ими порядок способствовал общему благу, и не стань их благосостояние предметом зависти суетных мирян, быть бы иезуитам устроителями разумного и истинно христианского уклада, который служил бы примером всему миру. Увы, им показалось мало руководить духовным и экономическим благосостоянием учрежденных ими общин. Они начали добиваться независимости от власти испанской короны, – заметьте, политической независимости (а, по слухам, и независимости от Папы в вопросах богословия). Они настолько далеко зашли, плетя интриги и преувеличивая свою исто-

рическую роль, что, в конце концов, король решил изгнать их из своих пределов. План расправы готовился в строжайшем секрете и со всей тщательностью, так что никто и не пикнуть не успел, как в одну ночь по всем испанским колониям гражданские и военные власти арестовали всех до одного иезуитов, отправили их под стражей в Буэнос-Айрес, а оттуда морем в Испанию.

Произошло это за шестьдесят или семьдесят лет до моего появления в Латинской Америке. Полтора века иезуиты правили Ронкадором; правили жестко, индейцев держали в строгом подчинении, но при этом по мере сил обеспечивали стабильность и действенность институтов власти. Когда же иезуитов прогнали, их миссии на местах быстро захирели; индейцы вернулись к кочевому образу жизни, или же – что случалось чаще – попали в руки беспринципных испанских чиновников или авантюристов из Европы. Во главе каждой колонии были поставлены испанский губернатор и три лейтенанта; в каждом городе имелся свой управляющий светскими делами, и были еще два кюре для управления делами духовными. В сущности, это была идеальная система для скрытого воровства и всевозможных подтасовок; уже после подсчитали, что четырех лет с момента изгнания иезуитов хватило, чтоб богатство большинства миссий, исчислявшееся в поголовье скота, лошадей и овец, сократилось более чем вдвое.

Со временем я расширил свои познания о деятельности иезуитов, но пока, пожалуй, не стану перегружать рассказ дополнительными подробностями. Всему свое время. Скажу лишь, что последние шестьдесят с лишним лет колонии и миссии продолжали разоряться; смертность среди местного населения росла, а внешних признаков цивилизации становилось все меньше и меньше. После развала Испанской империи колонии провозгласили независимость, и все население стало жить надеждами на лучшее. И действительно, если посмотреть с позиции обыкновенных граждан, например, фермеров или торговцев, – ведь испанского владычества больше нет, и дело должно пойти на лад. Власть, однако, оказалась в руках офицеров местной милиции (эти отряды еще раньше были сформированы испанскими военными подразделениями), которые обычно привлекали юриста для делопроизводства и одного или двух купцов для ведения торговых операций. Почти везде установилась военная диктатура, а поскольку у такого правительства цель одна – прославление личности диктатора, то бывшие колонии лишь возбуждали алчность других потенциальных диктаторов. Страны захлестывали политические интриги, неизменно заканчивавшиеся кровопролитием; новые же священники только усложняли положение, – конфликтуя со всеми диктаторскими

режимами по очереди, они на каждом шагу чинили препятствия администрации. Хуже всех приходилось индейцам: у них не было ни политической организации, ни оружия, чтоб выступить против диктатора, и они смирились со своей участью. Утратив всякую способность сопротивляться, они становились легкой добычей для любого угнетателя, наделенного административной властью.

И вот патриоты Буэнос-Айреса решили противопоставить этой системе подавления принципы Французской революции. Бездна задача, заведомо обреченная на провал! Индейцев они еще могли вдохновить на борьбу, хотя десятилетия угнетения не прошли даром, и подорвали мятежный дух народа, но главное, — не было людей способных организовать и возглавить народное движение! На всем континенте не нашлось бы человека с задатками политика, который не только не был бы продажным, но и готов был посвятить себя защите угнетенного народа. Члены комитета в Буэнос-Айресе были слишком привязаны к городу семейными и деловыми узами, чтоб отвлекаться на борьбу в провинции, — они были заняты собственной политической карьерой. Поэтому они не нашли ничего лучше, чем обратиться за помощью к товарищам в Кадисе, — попросили прислать им оттуда надежных агентов. По нечаянности я оказался одним из них.

Впрочем, расчет был не только на агентов, но и на недовольных среди военных, а таковых в большинстве колоний оказалось немало. Я уже отмечал, что военные не были чистокровными испанцами. Ведь если «испанцем» называть уроженца метрополии, то таких среди военных, особенно в отдаленной провинции, было меньшинство. В период, когда колонии получили независимость, многие военные перешли на службу во вновь образованные правительства, а те, в свою очередь, составили ядро диктаторских режимов. Кроме того, в солдатах ходили в основном уроженцы колоний, особенно из смешанных семей: отец – испанец, мать – индианка. Но, опять же, строгих расовых барьеров не существовало, и низшие армейские чины набирались даже из чистокровных индейцев.

Таким образом, существовала реальная возможность расколоть армию, вбив клин между «испанцами» и «американцами». Первые умели только пускать пыль в глаза, вели себя крайне заносчиво, погрязли в лени и коррупции. У вторых на уме были не только марши и муштра, но и другие заботы: семья, личное хозяйство, так что они не заносились перед местными жителями, – наоборот, они сочувствовали последним. На этом уже можно было строить одну из вероятных стратегий будущей партии революционеров: заручиться поддержкой сочувствующих элементов в армии с тем, чтобы изнутри подорвать диктатуру.

Поймите правильно: то, что я громко именую «армией», на самом деле было гарнизоном из нескольких сот человек, вооруженных старыми карабинами. Редко у кого из них в распоряжении находились одно-два артиллерийских орудия. Естественно, гарнизоны были конными: лошадей везде хватало с избытком. «Армия» Ронкадора – это четыре роты, по две сотни бойцов каждая. Офицерский же состав, как и везде, был раздут до чрезвычайности: пять генералов, дюжина полковников, и двадцать-тридцать офицеров младших званий.

Вот, пожалуй, вся предварительная информация о Ронкадоре, которой я располагал. Но еще до моего прибытия туда между Патриотическим Обществом Буэнос-Айреса и генералом Хризанто Сантосом, в чье распоряжение я поступал, уже велись тайные переговоры об обеспечении поддержки будущего правительства, и не только среди местного населения, но и в армии. О Сантосе было известно, что он дослужился до высшего армейского чина; выходец из колониальной семьи с глубокими местными корнями, в чьих жилах текла и кровь индейских предков – он недаром благоволил к гуарани. Однако его сочувствия и горячего желания изменить существующее положение вещей и, взамен хаоса и угнетения, установить порядок и справедливость было недостаточно. Ему требовалась помощь образованно-

го или опытного человека. О себе он знал, что ввести порядок ему по силам, но взять на себя политические и административные функции, без которых невозможно управлять страной, воли у него не хватит.

Сутки мы отдыхали, а потом двинулись в путь, — предстоял последний, короткий, но самый трудный бросок. Мы взяли четырех мулов и наняли еще одного проводника — из местных. Шли мы по узкой горной тропе, пересекавшей скалистую долину с отвесными уступами, то спускаясь вниз и шагая вдоль горного ручья, то поднимаясь вверх по густо заросшим склонам. В полдень мы добрались до вершины и там устроили четырехчасовой привал. Хотя мы находились на высоте не меньше четырех тысяч футов над уровнем моря, холодно не было, — в это время года в здешних широтах обычно тепло. Мой гаучо и местный проводник мирно заснули в тенечке; мулы переступали с ноги на ногу, дергали хвостами, мотали головой, отгоняя надоедливых насекомых, норовивших ужалить их. А я от возбуждения не мог заснуть: мне и не терпелось, и вместе с тем было страшно встретить свою судьбу. Травяной покров под ногами, горные склоны окрест, необъятное небо над головой, — все это манило сладкой и жуткой тайной.

Около четырех часов я почувствовал, что больше не в силах ждать, разбудил моих спутников и

даже попенял им на их медлительность. От цели путешествия нас отделяли шесть миль пути и пологий спуск в тысячу футов. Но тропа часто оказывалась непроходимой: путь преграждали упавшие ветки или свежая поросль, – поэтому на опушку мы вышли только к семи часам вечера. Мы увидели перед собой низкую деревянную эстансию*, или, по-нашему, ферму, окруженную плетнем из глины и прутьев. Мы с гаучо остались на опушке, а проводник-индеец пошел предупредить хозяина о нашем приезде.

Вскоре он снова появился, знаками приглашая нас войти. По виду дом не сильно отличался от тех, что я видел на своем пути от побережья в глубь страны. Внутри помещение состояло из двух длинных комнат с убогим убранством: стол и несколько грубо сколоченных стульев в «столовой», да пара коек в «спальне». Навстречу гостям вышел старик-индеец с коричневым от загара, широким морщинистым лицом, обрамленным седыми шелковистыми волосами. Звали его Боря Ирабуэ, и в его доме мне следовало оставаться до получения инструкций от генерала Сантоса. Ирабуэ немного говорил по-испански, был обходителен, даже подобострастен. В мгновение ока он приготовил нам отменный ужин: жаркое из говядины и корня юкки*, на десерт чай уегба¹ и затем сигары. После ужина я позволил себе маленькое

*Трава (исп.); здесь: парагвайский чай, мате.

удовольствие: попросил Ирабуэ научить меня несколькими словам на диалекте гуарани, и, надо сказать, он оказался хорошим учителем, а я прилежным учеником: за тот вечер я немного продвинулся в местном наречии.

Наутро гаучо отправился в Ронкадор, чтоб известить генерала Сантоса о моем прибытии и получить дальнейшие инструкции. До Ронкадора (это название и столицы, и страны) было ехать день, поэтому я ждал Педро назад не раньше, чем через сорок восемь часов. Местного проводника я отправил обратно вместе с мулами и следующие два дня наслаждался обществом Ирабуэ, общение с которым оказалось и приятным, и полезным во всех отношениях. Несмотря на небольшой языковой барьер, я многое узнал от него: об обычаях страны, о настроениях среди индейцев, об их недовольстве испанцами и их желании иметь постоянное правительство. За разговорами я незаметно совершенствовался в языке.

К вечеру второго дня Педро, против моих ожиданий, не вернулся. Приехал он только на третий день, зато в сопровождении самого генерала. Ростом генерал, прямо скажем, не вышел, у него были темные блестящие глаза, густая черная с проседью борода, топорщившаяся, как щетка, но неказистая внешность с лихвой окупалась кипучим темпераментом и добродушным нравом. Он так горячо и бурно приветствовал меня, что я был из-

бавлен от необходимости подыскивать слова для ответа. Тем временем Ирабуэ, как добросовестный слуга, хорошо знающий вкусы хозяина, — он часто ездил с ним на охоту, — приготовил для генерала угощение, которое тот предложил нам всем отведать. Потом мы с генералом уединились для долгой обстоятельной беседы. Я сказал «беседы», на самом же деле, мое участие в разговоре сводилось к вопросам, а основную часть времени занимали подробные развернутые ответы генерала. Вообще-то по возрасту он годился мне в отцы, однако держался со мной без всякого высокомерия, молча отдавая дань уважения политической прозорливости и большому жизненному опыту, который он во мне предполагал, а я не решался отрицать. Из общения с людьми практического склада я вынес то, что любой, так сказать, интеллектуальный вопрос ставит их в тупик, и они готовы за глаза принять самое что ни на есть поверхностное знание предмета, в котором сами не разбираются, за глубочайшую мудрость, если только человек излагает мысли спокойно и обстоятельно.

Генерал якобы поехал на целый день на охоту: такова была официальная версия. Так что у нас в запасе был еще день для обсуждения и разработки наших планов. Генерал полагал, что залогом успеха всей операции будет внезапность. Стоит только захватить город и взять под стражу испанских офи-

церов, как с сопротивлением будет покончено: население Ронкадора никогда не выступит против. Далее мы провозглашаем народное правительство и предлагаем ему принять новую конституцию, основанную на принципах, изложенных просвещеннейшими европейским философами.

В преданности своей роты генерал не сомневался, но знал, что шила в мешке не утаишь: собрать своих без ведома других офицеров будет трудно. Я было предложил что-то вроде ротных учений или ротного парада, но в ронкадорской армии такие формы были не приняты. Парады устраивались только по праздникам, и в них принимала участие вся армия. Мне стало ясно, что с наскока эту проблему не решить. Поэтому я попросил генерала как можно точнее описать местность: город и прилегающие территории. Планировка города оказалась донельзя проста: в центре — площадь, и от нее, под прямым углом, расходятся вправо и влево две улицы. Их по всей протяженности пересекают переулки и улочки, на неравном расстоянии друг от друга. Город располагается на склонах и на вершине полукруглого холма (на самом деле, естественного эскарпа), у подножья которого течет река. Речка невелика, дно каменистое, мост один, трехарочный. Улица, что ведет к мосту, начинается от северо-западного угла площади, и она является главным проезжим трактом.

Город почти сплошь застроен убогими домишками, за исключением кварталов к востоку от площади. Сто лет назад в восточной части города иезуиты возвели собор, а по бокам – два низких каменных здания: одно – это иезуитский колледж, там сейчас располагаются казармы и армейский штаб, а другое – склад и муниципалитет. Весь армейский штат квартировал в здании бывшего колледжа, построенного большим четырехугольником, по всему периметру которого шла крытая галерея.

Выходов на галерею было два: прямо с площади, через широкую арку, в которую запросто могла пройти шеренга из четырех человек или проехать повозка. А другой выход, – обычная дверь, – находился в северном крыле собора.

Нет нужды описывать варианты плана, что мы в тот день разработали: от большинства из них пришлось отказаться в силу непредсказуемости человеческого фактора. Хотя генерал Сантос был уверен в своих людях и знал, что они пойдут за ним в огонь и в воду, он ни за что не рискнул бы доверить им секретный план операции. Он не мог даже поручиться за их чувство ответственности: люди простые до наивности, они не поняли бы ни тонкости интриги, ни того, почему надо держать язык за зубами. Поэтому мы отклонили все варианты, связанные с массовыми действиями, и остановились на плане стремительного за-

хвата, где было задействовано всего несколько человек. Операцию следовало провести решительно и эффективно: мог ли я когда-нибудь предполагать, что я, человек гуманный и даже, как мне всегда казалось, буду всерьез рассматривать возможность политического убийства и настаивать на нем? Арест ничего не решал. Если оставить диктатора и его приспешников в живых, среди офицеров моментально вспыхнет бунт. Какими бы преданными ни были верные нам войска, и каким бы расположением населения они ни пользовались, без кровопролития, масштабы которого нельзя ни предсказать, ни рассчитать, победы нам точно не видать.

Мы пришли к выводу, что наш план должен, в первую очередь, предусматривать убийство одного лишь диктатора; в чрезвычайных обстоятельствах, если его гибель вызовет бунт его союзников, то будут приведены в исполнение и другие приговоры. Впрочем, генерал уверил меня, что никто не станет сожалеть о гибели тирана – даже его приспешники, так как они либо его боялись, либо недолгоблюдали, либо ему завидовали.

Еще мы решили, что убийство должно совершиться прилюдно. Тайная казнь вызовет кривотолки, пойдут бесконечные объяснения, а без демонстрации силы любые слова бесполезны. Такое решение автоматически определило место поку-

шения: городскую площадь, и время — час, когда на площади полно народу.

Убив диктатора, мы должны были без промедления провозгласить республику, объявить о том, что с военной диктатурой покончено и что отныне устанавливается власть народа, с этой целью пройдут свободные выборы его представителей.

Осталось решить последний вопрос: к какой дате приурочить покушение? Подумав, генерал вспомнил, что ежегодно в первое воскресенье апреля (в тех широтах это глубокая осень) происходят торжества, посвященные началу сбора церковной десятины. Ввели этот обычай иезуиты, чтобы поддержать служителей церкви, и в этом качестве он просуществовал весь долгий период испанского владычества. Из-за трений между церковью и государством, которое хотело наложить лапу на церковную десятину, священникам становилось все сложнее вытрясать из населения эту дань. Уже при диктатуре военных, то есть относительно недавно, прежнюю систему пересмотрели, десятины урезали до разумных пределов, и обязали армию обеспечивать своевременный сбор десятины. В ознаменование нового соглашения между церковью и государством диктатор взял за правило непременно присутствовать собственной персоной на церемонии освящения десятины. В этот год, как, впрочем, и во все предыдущие, за участие военных в празднике отвечал ге-

нерал Сантос – невероятная удача! Это существенно облегчало нашу задачу.

Впрочем, подумал я, успех нашего предприятия может оказаться под угрозой срыва, если убийство произойдет раньше, чем закончится церемония в соборе, или же если кровь прольется в непосредственной близости от здания церкви, почитаемого народом за святое место. Казалось бы, чего проще! Поставь убийц на выходе из церкви: как только диктатор появится во главе процессии, тут-то они и нападут на него. Еще двух-трех человек можно поместить внутри церкви: прогремит выстрел, и они быстро закроют двери собора, чтоб отсечь охрану диктатора. Предельно четкий план! Однако, как и я, генерал боялся, что при таком развитии событий могут быть задеты религиозные чувства народа, и рано или поздно из диктатора сотворят святого мученика.

В тот день мы ничего больше не придумали, а поскольку до намеченного воскресенья оставалось еще три недели, было решено, что завтра я поеду с генералом на его ферму, что в пяти милях к западу от города. Там мы сможем спокойно, без спешки проработать все детали нашего плана. Генерала не смущало, что мое пребывание в его доме не останется незамеченным, и о нем обязательно узнают в Ронкадоре. Во-первых, его сослуживцам никогда не пришло бы в голову, что он укрывает тайного агента, а, во-вторых, слухи о

моей персоне, помноженные на общую атмосферу таинственности и секретности, только пойдут на пользу нашим планам.

Сказано – сделано: рано утром мы уже были в седле. Я попрощался с милым Ирабуэ, пообещав в скором времени вернуться и вместе поохотиться на куропаток. В дороге я вспомнил, что мой гаучо, который к этому времени уже, наверное, вернулся в Буэнос-Айрес, попросил меня сохранить за ним должность моего охранника в этой, как он выразился, стране дикарей, и, воспользовавшись случаем, я попросил генерала о такой возможности. Он разрешил, и я с удовольствием, хотя и заочно, нанял Педро: он был образцом преданности.

Местность вокруг поражала утренней свежестью. Зеленые луга сменялись рощицами, всюду слышно было журчание ручейков. Такого разнообразия растительности я нигде не встречал, – многие кустарники и деревья мне были неизвестны. Из деревьев я признал только лимон, апельсин и фику. Ветви и листья сплетались в ажурный полог, и в этом воздушном саду кто только не жил: и белки, и обезьяны, и птицы с роскошным оперением! Но лучше всех были колибри, их было там великое множество: они порхали с ветки на ветку, зависали у нас над головами. Впервые я увидел их по дороге в Ронкадор, они еще поразили меня своим размерами – иные меньше насеко-

мых! Но чтоб в таких количествах и такой ослепительной пестроты! Они сверкали, подобно драгоценным камням, блестели, как серебро и золото, переливались всеми цветами радуги, а то вдруг делались матовыми. Их цветовая гамма включала всю палитру: от охристых до темно-малиновых тонов, от пурпурного до фиолетового, от индиго до зеленого. В полете они так быстро машут крылышками, что самих крыльев не видно, – слышно только легкое стрекотанье. Генерал умилился, увидев, что я пришел в восторг от «ангелочков», как он их окрестил. Оказалось, он сам от них без ума и разводит у себя на ферме.

Пошли заболоченные места, пару раз мы пересекли озерца, на которых полно было уток, камышовок и бекасов. По опушкам гнездились куропатки и перепелы. Порой за деревьями виднелись то беленый домик, то ферма. На каждом шагу попадались признаки сельскохозяйственной деятельности: посадки хлопчатника, юкки, табака, а поближе к фермам – огороженные участки индейской кукурузы или сахарного тростника. Жители все больше местные, быт – спартанский. Мы как-то остановились у ворот одного дома – попить воды. Так вот, воду в грубом глиняном кувшине нам вынес хозяин. Пока мы утоляли жажду, он стоял рядом, сняв сомбреро, а его жена и дети держались на почтительном расстоянии, скрестив на груди руки. Генерал пояснил, что так они

встречают всех путешественников, и его генеральский чин здесь не при чем.

Еще несколько часов приятного путешествия, и к пяти вечера мы уже были у генерала на ферме. Край плодородный, хотя и не очень лесистый. По открытым прериям, насколько хватало глаз, паслись огромные стада лошадей и домашнего скота. В тени деревьев стоял хозяйский дом – одноэтажная вытянутая постройка с верандой. Мы спешили, и внезапно, точно по сигналу, со всех сторон раздался собачий лай, захлопали крыльями птицы. Тут же со всех ног к нам кинулись молодые гаучо, сидевшие до этого в тени, под навесом, – принять уставших лошадей. Генерал тем временем повел меня в дом. Женат он был на местной, они нажили девять детей, – старшей дочери исполнилось двадцать два. Все семейство было в сборе. Он перецеловал их всех по очереди, а затем представил меня: «Прошу любить и жаловать, – доктор Оливеро» (мы с ним заранее решили, что такое обращение ни у кого не вызовет вопросов). Затем прошли на генеральскую половину, где он представил мне другую, более многочисленную часть своего семейства: вся комната была уставлена клетками с колибри. Кормление происходило здесь же, размножение – тоже. Генерал открыл дверцы всех клеток, и колибри разом выпорхнули наружу, наполнив комнату стрекотом и шумом крыльев. Они буквально об-

лепили генерала, а он уже держал наготове трубочки из гусиных перьев, наполненные сахарным сиропом, в который эти лакомки совали свои клювики. Пока одни насыщались, другие порхали у генерала над головой, щекотали уши, порхали у самого рта, на лету цеплялись за рукав. Наконец, все утомонились: генерал устал, убрал перья, взмахнул руками «разлетайтесь, мол!», и те моментально расселись по своим клеткам.

Я успел заметить в примыкающем к комнате алькове корешки книг и из мебели стол и два стула, — больше в генеральских покоях ничего не было. Одна сторона дома представляла собой веранду, с которой открывался просторный вид на поросшие деревьями холмы, тронутые первым золотистым багрянцем осени. Веранда, как я обнаружил позже, служила спальней для всего семейства: спали там в гамаках. Впрочем, ложиться было еще рано: нас жал вкусный ужин, приготовленный генеральскими дочками.

На следующий день генерал отбыл в Ронкадор, оставив меня наедине со своими мыслями, книгами и колибри. Его певчие домочадцы приняли меня далеко не сразу, — видно, я был для них совершенно незнакомой особью: высокий и тощий, я явно проигрывал в сравнении с приземистым генералом, тем более что на моем лице не было такой кустообразной растительности. Среди книг я нашел несколько политических тракта-

тов, призванных воспитать либеральный и терпимый взгляд на вещи, в их числе был и великий труд Вольнея*, который так много значил для меня в юности и даже определил мое становление.

Я провел в этой обстановке три недели: никогда еще мне не было так хорошо! Сухой умеренный климат. Приятный и простой быт, без церемоний и условностей. Вставал рано и шел на речку плавать; утром охотился на диких уток и куропаток или объезжал уголья с одним из сыновей генерала; во время сиесты уединялся в хозяйских покоях. Медленно и вдумчиво читал, утоляя жажду травяным чаем и внутренне успокаиваясь от запаха душистых, свежескрученных сигар. Мне не верилось, что я все тот же, что еще несколько лет назад меня глодала тоска в богом забытой английской деревне, что я многого навидался сначала в Лондоне, затем в Варшаве, потом в Кадисе. Разумом я отказывался верить в одновременное существование таких несовместимых мест: память моя – длинная нить, окрашенная в пестрые цвета разнообразным опытом, – нить, а может змея, клубком свернувшаяся у меня в мозгу.

Время от времени генерал Сантос навещался домой, порой задерживаясь на двое суток кряду. Тогда начинались долгие беседы: мы сидели, уточняя и выверяя каждую деталь нашего плана. Два обстоятельства складывались в нашу пользу. У диктатора возникли трудности с выплатой жа-

лованья военным, находившимся на действительной службе, и среди них росло недовольство, а поскольку приближалась церемония сбора церковной десятины, то некоторые жители, естественно, начали роптать. Ронкадор мало отличался от других бывших колоний: в церковь там ходили только женщины и дети, а мужчины днем трудились, а ночью восстанавливали силы, и у них не было ни времени, ни желания прибегать к утешениям служителей церкви. К тому же, пасторы и монахи во имя укрепления своей власти не гнушались никакими средствами, стремясь завоевать расположение женщин, и тем самым вносили еще больший раскол в семейные отношения.

Приближалась намеченная дата, и хотя все вроде бы было учтено, я видел, что участникам недостает куража, без которого, как известно, такие дела не совершаются. И я решил поехать вместе с генералом в Ронкадор, чтобы на месте проверить, все ли подготовлено к осуществлению нашего освободительного плана. Чтоб часом не заподозрили неладное, я поменялся платьем с моим гаучо и ехал под видом генеральского денщика. Генерал собирался сделать на городском рынке кое-какие покупки и отправить их со мной домой. До города мы добрались без приключений. Меня, естественно, интересовало, насколько реальная картина совпадает или, наоборот, расходится с тем образом, что я нарисовал в своем воображении со

слов генерала. Так вот, в плане и местоположении ошибки не было: еще бы, проще не бывает. А вот город представлялся мне более впечатляющим, его застройка – более четкой. В действительности же это было жалкое скопление лачуг и хибар, а улицами служили песчаные дороги: брусчатки не было, и мусор вываливали прямо под ноги. Из-за дождей и открытых колодцев улицы, сбегавшие к реке, покрылись рытвинами и ямами: они больше походили на овраги. Другое дело – plaza, городская площадь. Там дома были просторнее и не ниже двух этажей: постройки, обрамлявшие площадь с трех сторон, в основном, принадлежали купцам да лавочникам. Первого этажа не было – вместо него по всему периметру, за исключением одной стороны, шла колоннада, подобие крытой галереи. В глубине ее, там и сям, виднелись торговые палатки. Когда мы появились на площади, представлявшей собой около четырех акров голый земли, я не увидел не ней ни души. Главной достопримечательностью площади была ее восточная сторона с собором и еще два здания: армейские казармы и ayuntamiento¹, или муниципалитет. Эти три сооружения полностью подавляли город. Впрочем, интересным мне показался только фасад собора в псевдобарочном стиле – величественная мешанина из камня и гипсовых деталей; к нему лепилось деревянное крыльцо с двумя

¹ Муниципальный совет (исп.).

витыми колоннами по бокам, а в углублении, на металлическом постаменте, напоминавшем воронье гнездо, высилось скульптурное изображение Успения Богородицы, — заметьте, в человеческий рост. Из собора на площадь вела широкая лестница, — я насчитал шесть ступеней. От соседства с собором два другие здания, двухэтажные, явно проигрывали: они казались мрачными и напоминали тюрьму, — еще бы, стены гранитные, а окна забраны решетками.

Мы подъехали к дому слева от собора и, миновав охрану, въехали во двор; там мы спешили и оставили лошадей под присмотром генеральского конюха. Был час сиесты, вокруг никого. Я уже говорил, что с этого двора можно было через дверь попасть в собор. Ею мы и воспользовались. В соборе было темно: в нос ударил запах затхлости и сырости. Я не ошибся: везде виднелись следы запустения. Крыша собора кое-где прохудилась, и сквозь дыры синело небо; давно не подновлявшиеся стены местами позеленели. Карнизы, колонны и даже изваяния святых, застывших в скорбных позах, покрывал толстый слой птичьего помета. Алтарная часть была ободрана: похоже, ею давно не пользовались, и только в соборных приделах горели свечи да редкие старухи молились там и сям, стоя на коленях.

Генерал пояснил, что специально в честь праздника освящения десятины алтарь собираются от-

ремонтировать. В соборе ожидают большое скопление прихожан: женщины будут стоять по одну сторону, мужчины – по другую, между ними – проход. Процессия будет двигаться по проходу в такой последовательности: сначала епископ и священники, хористы, послушники и невинные девы с муляжами фруктов в руках. За ними – диктатор, его окружение, офицеры, судьи и присяжные. Все они займут места в первых рядах. Затем последует церемония освящения десятины. После этого процессия перегруппируется: священнослужители проследуют в ризницу, а светская власть в лице военных и их приближенных выйдет через западное крыло по ступенькам на площадь. Там диктатор проведет смотр своей миниатюрной армии, устроив парад. Стоя на нижней ступеньке лестницы, он будет приветствовать подразделения, торжественным маршем направляющиеся к казармам. Последним площадь покинет диктатор. Чуть позже на этой естественной арене устроят нечто вроде спортивных состязаний: *sortija*¹ и бой быков, – правда, не настоящую испанскую корриду, а так, потасовку между необученными индейскими *toregos*² и ленивыми быками.

Итак, я все выпросил у генерала о ходе праздника. Стоя на нижней ступеньке соборной лестницы, в том самом месте, где пять дней спустя бу-

¹ Кольцо (*исп.*). Здесь: игра в кольцо, восходящая к средневековым рыцарским турнирам.

² Тореро (*исп.*).

дет возвышаться фигура диктатора, я сказал себе: «Первое правило диктатора – никогда не появляйся на людях пешком; второе правило диктатора – никогда не иди замыкающим».

На этом осмотр достопримечательностей был окончен: мы и так задержались, нас могли заметить, и поэтому, закупив все необходимое, мы спешно покинули еще сонный город, когда уже начало вечереть. Ехали молча, обдумывая отчаянный шаг, неотвратимо приближавший нас к развязке.

В голове у меня медленно выстраивался новый план: мне мерещилось, что всему происходящему можно и должно придать фантастичность естественного хода событий. Люди настолько неуклюжи и прямолинейны в осуществлении задуманного: нож, пуля, яд – вот и весь нехитрый джентльменский набор. Между намерением и актом насилия нет пространства или, если хотите, зазора для игры воображения. То ли дело древние! Решив лишить жизни Эсхила, боги-олимпийцы пустили в небо орла, несущего в когтях черепаху. Понятное дело: парить высоко в небе с такой ношей и тяжело, и неудобно. Черепаха выскользнула из когтей, устремилась камнем вниз и одним ударом раскроила череп старому поэту. В том же духе мне хотелось обставить и смерть диктатора.

Короче, осмотрев место действия, я задумал ввести убийство в сценарий праздничных мероприятий. На площади будет установлена полукруглая

ограда, отделяющая зрителей от арены. На южной стороне площади специально для диктатора и его свиты устроят ложу. Пусть мне не доводилось самому видеть бой быков, но я хорошо представлял его по рассказам товарищей в Кадисе; и, соответственно, первой версией нового плана, который я предложил генералу Сантосу, был такой. Во время боя тореро вдруг погонит быка к диктаторской ложе, бык начнет кидаться на него, тореро вынужден будет укрыться в ложе, и, вместо того, чтоб поразить быка, всадит шпагу в диктатора. Генерал внимательно выслушал меня, похвалил за изобретательность и сделал несколько замечаний. По его сведениям, в Ронкадоре нет *espada*¹, владеющего искусством гнать быка в нужную сторону, и потом, на заключительном этапе *suerte de matar*² бык уже настолько оглушен и измотан, что он просто физически не сможет бросаться на тореро, заставляя его укрыться в ложе.

Я сразу же признал справедливость этих возражений и вспомнил о другом спортивном состязании в программе праздника. Это *sortija* – простое и невинное развлечение. На открытом месте устанавливается рама, похожая на дверную коробку, только она должна быть таких размеров, чтоб сквозь нее мог запросто проехать всадник на лошади. К верхней горизонтальной балке примерно

¹ Здесь: человек, прекрасно владеющий шпагой (*ист.*)

² Смертельный бой (*ист.*)

посередине крепится кольцо на тонком шнуре. Всадник начинает разбег ярдов за двести до рамы, подлетает к ней на полном скаку и пытается поддеть кольцо острием кинжала или пики. Счастливого зрителя награждают овациями, а на празднике в Ронкадоре он по обычаю еще и должен объехать всю арену, приветствуя диктатора.

Итак, в центре площади, против соборной лестницы устанавливается рама. Всадники стоят с северной стороны, чтоб Диктатору вся площадь была видна, как на ладони, а сам он и его ложа располагались бы на прямой, по которой поскачут всадники. Когда начнется состязание, один из наездников в мгновение ока прищпорит коня, перемахнет через ограду и окажется перед куда менее подвижной мишенью, чем подвешенное кольцо. Когда публика опомнится, дело будет сделано.

Единственное недостающее звено – это смельчак, готовый рискнуть своей жизнью.

Поначалу генерал Сантос с недоверием отнесся к новому варианту плана, показавшемуся ему слишком мудреным, – сам он предпочитал открытую стрельбу. Я стал убеждать его, говоря, что такой стремительный и неожиданный поворот окажет на всех присутствующих колоссальное психологическое воздействие, и он постепенно проникся правотой моих суждений, и в конце концов горячо поддержал весь план. В то вечер мы обсудили все до мельчайших подробностей,

постарались исключить любую возможную осечку и согласовали дальнейшие действия. Мы договорились, что сразу после развязки вооруженные люди из роты генерала займут казармы, собор и здание местной администрации. Здесь же, на площади, во всеуслышание будет провозглашена республика и роздано воззвание. Офицеров-испанцев возьмут под стражу, и любое сопротивление будет караться расстрелом.

Завершив обсуждение плана, мы начали действовать решительно и слаженно. На все приготовления у нас было ровно пять дней. Лично меня больше всего беспокоил вопрос об исполнителе, однако генерал уверил меня, что у него наготове несколько человек, которые с радостью станут орудием мести: каждого из них в свое время либо оскорбил, либо унизил диктатор. Генерала заботило другое: текст воззвания! Но тут уж я вызвался его υποκαивать, сказав, что берусь подготовить документ за двадцать четыре часа, причем постараюсь отразить в нем все классические установки демократического правления. Ведь основные принципы, заверил я генерала, давным-давно сформулированы Отцами Революции (это я так окрестил французских философов – Руссо, Рейналя* и Вольнея). Нам остается лишь приспособить эти универсальные законы к частному случаю, то есть к Ронкадору.

Генерал смиренно выслушал мою тираду, верно немало подивившись моему интеллектуальному

апломбу, но виду не подал и тем же движением руки, каким он распускал после кормежки колибри, — разлетайтесь, мол! — дал мне понять, что разговор окончен, а сам, к слову, занялся своими пичужками, кормя их из гусяного пера, наполненного сахарным сиропом.

Назавтра спозаранку генерал отправился в Ронкадор. Я его не провожал, — был совершенно разбит: видно, сказалось волнение, пережитое накануне; я долго ворочался, не мог заснуть, все обдумывал текст будущей конституции. Встал с тяжелой головой, и пока не выпил несколько чашек травяного чая, не перелистал заново Руссо и Вольнея, не смог написать ни слова. Потом я разошелся, и к вечеру первого дня воззвание было готово. На второй день я только перечитывал и правил текст.

(Ниже приводится перевод отпечатанного на типографском бланке воззвания, обнаруженного в бумагах Оливеро).

Декрет Временного правительства

Для обнародования на собрании представителей Республики Ронкадор

Вступление

Провидение наделило всех людей одинаковыми способностями, одинаковыми чувствами и

одинаковыми потребностями, и поэтому ему было угодно даровать им право на равную долю земного богатства. А поскольку богатств этих хватит, чтоб удовлетворить потребности каждого, из этого следует, что все люди могут пользоваться равной свободой, и каждый является хозяином своей судьбы.

Равенство и свобода – главные условия существования человека, два основополагающих закона, суть человеческой природы. Люди вместе возделывают землю и живут плодами своего труда, и с этой целью они заключают друг с другом договор; любой свободный труд справедливо вознаграждается частицей общего богатства. В основе свободы и равенства лежит справедливость, она является главным принципом управления в обществе свободных людей.

Постановление правительства

Статья 1. Бывшая колония Ронкадор – это свободная и независимая республика; ее правительство формируется на основе выборов; законы принимаются решением народного собрания и исполняются без принуждения и привилегий.

Статья 2. Власть управлять страной от имени народа дается сроком на три года совету трех представителей, избираемых всеобщим голосованием; в их полномочия входят дела государст-

венные, военные, экономические и административные. Совет назначает Секретаря, который имеет право замещать любого члена Совета в случае его нетрудоспособности.

Статья 3. В Ронкадоре существует только одна конфессия – католическая, и Церковь не имеет права вмешиваться ни в какие дела, кроме духовных. Церковь избирает достойных епископов, осуществляет подготовку священников и управление приходами. Церковные пожертвования – исключительно добровольное дело прихожан. Все принудительные сборы в пользу церкви подлежат упразднению.

Статья 4. Помимо обычных функций управления, Совет наделяется следующими полномочиями: 1) содержать государственный и военный аппарат, 2) взимать налоги, 3) заключать дружественные и торговые договоры, 4) организовывать общественные работы, 5) устанавливать правила импорта и экспорта ввозимых и произведенных в стране товаров.

Статья 5. Правительство обязано ежемесячно представлять общий отчет о доходах, расходах и состоянии казны. Раз в три месяца оно обязано публиковать подробный отчет о доходах и расходах населения.

Статья 6. В обязанности главнокомандующего, который является одним из трех членов Совета, входит планирование численности армии, кон-

троль за назначениями, руководство национальной обороной и все другие мероприятия, связанные с армейской службой.

Статья 7. Каждый гражданин мужского пола, старше шестнадцати лет, должен быть готов, в случае необходимости, защищать свою страну.

Статья 8. Правосудие отправляется судьями, которые находятся на государственном жаловании, однако в остальном независимы от какого-либо политического влияния; их назначает судебная коллегия, и она же их отзывает, по требованию граждан. В каждом приходе имеется свой мировой судья, назначаемый на эту должность местными органами правосудия и им же подотчетный.

Статья 9. Во главе администрации в каждом городе или районе стоит мэр, избираемый населением и ответственный за состояние экономики в своем крае. По желанию избирателей мэр имеет право исполнять функции и мирового судьи, однако если мировой судья назначается на эту должность на неограниченный срок местными органами правосудия, то мэр избирается населением на два года.

Статья 10. Правом голоса обладает каждый женатый мужчина и каждая вдова, являющиеся кормильцами семьи. Священники не имеют права участвовать в выборах, равно как и в любых других политических или судебных делах.

Статья 11. Все внешнеторговые операции осуществляются под контролем правительства.

Статья 12. Ростовщическая деятельность упраздняется.

Настоящая конституция провозглашена Временным правительством генерала Сантоса. По его поручению, секретарем Временного правительства назначен известный в своих кругах доктор Оливеро, недавно прибывший из Англии, почитаемой во всем мире за самую свободную страну, ученый с большим опытом, знаток английского законодательства и общественных институтов. В воскресенье, через четыре недели после указанной ниже даты, Временное правительство в полном составе предстанет перед народным собранием, дабы заручиться его поддержкой.

Ронкадор, 1 мая 183-г.

Генерал Сантос отсутствовал тридцать шесть часов и вернулся только к вечеру второго дня, и то лишь на одну ночь. У него все складывалось как нельзя лучше. Под предлогом подготовки к празднику он успел переговорить с двенадцатью солдатами своей роты. Все они были либо метисами, либо чистокровными индейцами. Всех их он заставил поклясться в неразглашении тайны, и все они выразили готовность выполнить любой его

приказ. Каждому в отдельности он сказал о готовящемся перевороте с целью провозглашения республики; затем собрал их всех вместе и попросил отобрать из списка роты имена тех, на кого каждый из двенадцати мог при чрезвычайных обстоятельствах положиться, как на самого себя. Их не надо было заранее ставить в известность о нашем плане; просто утром, в день праздника этих людей нужно было уговорить встретиться всем вместе на восточной стороне площади, чтоб посмотреть спортивные состязания. Сам генерал как командующий парадом будет при исполнении служебных обязанностей и, естественно, верхом. Старший в группе должен внимательно следить за его движениями. Как только он заметит, что генерал вытащил шпагу и занес ее над головой, он со своим отрядом должен без лишнего шума отправиться к себе в казармы и вооружиться. После чего сразу же вернуться на площадь, где будут даны дальнейшие инструкции.

Я поинтересовался, кто будет охранять казармы. Генерал сказал, что они будут под наблюдением солдат его роты, и, естественно, своих офицеров они не задержат.

Еще он предложил подать сигнал готовности как можно раньше, — одновременно с выездом того, кто убьет диктатора. За те несколько секунд, пока он будет мчаться по площади, никто не заметит, что военные взяли наизготовку, — ведь все

взоры будут прикованы к всаднику. Зато они выиграют несколько секунд и сумеют подготовиться. Иначе среди начавшегося столпотворения военные могут попросту пропустить сигнал.

На роль убийцы генерал отобрал индейца по имени Итурбид, который не так давно пострадал от произвола диктатора. Этот рослый силач и прекрасный наездник пользовался у офицеров заслуженным авторитетом, и ему фактически присвоили звание лейтенанта. Кое-кому из офицеров-испанцев такая прыть не понравилась: они не хотели, чтоб в их рядах служили аборигены. И вот, напоив Итурбида вином, они спровоцировали его на неосторожные замечания в адрес диктатора, а потом донесли о них своему начальнику. Диктатор пришел в ярость оттого, что какой-то подонок, которому он выказал особую милость, злоупотребляет своим служебным положением, и, не разобравшись, собрал на плацу свою армию и публично, при всем честном народе сорвал с мундира Итурбида офицерские знаки отличия. Короче, его с треском выгнали, и он впал в жуткую нищету и отчаяние; мечтал только об одном — отомстить обидчику за несправедливое унижение и позор.

Договариваться с таким человеком в открытую было бы крайне рискованно. Выйти на него через кого-то из служивших в генеральской роте тоже было затруднительно, поскольку, получив

офицерские погоны, Итурбид утратил социальную связь со своими соплеменниками а, лишившись звания лейтенанта, он опозорил себя в глазах офицеров, и обратного хода ему не было. Другими словами, он стал изгоем, хотя окрестные мальчишки по-прежнему уважали его за силу и ловкость. Выход был один: послать конюха на поиски Итурбида и уговорить его быть на мосту в тот час, когда генерал будет возвращаться домой. Генерал всегда сочувствовал земляку, и Итурбид об этом знал, поэтому ломаться не стал, а сразу согласился встретиться в условленном месте. Встреча состоялась утром: Итурбид пересел на лошадь конюха и какое-то время ехал рядом с генералом. Тот рассказал ему о плане, и, слово за слово, индеец связал себя клятвой хранить молчание, а потом и согласился участвовать в операции. Со своей стороны, генерал пообещал ему, в случае благополучного исхода, полную поддержку и капитанский чин в будущей республиканской армии. Не забыли они и о таких «мелочах», как экипировка, пика, лошадь. Потом разъехались: Итурбид повернул назад, в город, а генерал поехал домой.

В ту ночь мы допоздна выверяли каждую деталь предстоящей операции, стараясь шаг за шагом исключить возможные осечки. И все же в одном пункте мы просчитались: набрать текст воззвания и распечатать его типографским способом мы

уже не успевали, да и сделать это было негде. Во всем Ронкадоре имелся единственный типографский станок, и тот находился в распоряжении властей. В сердцах я уже готов был поменять весь план, но мудрый генерал Сантос вовремя удержал меня, заметив, что даже если декларация и будет напечатана, то едва ли кто-то сможет прочесть ее: ведь в стране поголовная неграмотность, так что будет даже лучше прочесть воззвание вслух.

Содержанием подготовленного мной документа генерал остался весьма доволен. Единственное, в чем он засомневался, это во вступлении: он полагал, что этот текст для индейцев – все равно что китайская грамота. Но зная, что риторика – это главный инструмент любого правительства, он не стал придираться к фразам. Статьи постановления он одобрил: они показались ему на удивление хорошо приспособленными к условиям страны и жизни народа, и вообще он был поражен моей политической хваткой. Помня, что именно благодаря этому качеству я был ему рекомендован, я не стал возражать, проявляя ложную скромность, и с достоинством принял похвалу.

Все оставшееся до операции время я, сохраняя внешнее спокойствие, больше молчал и вид имел задумчивый, но сам-то я знал, чего мне стоит сдерживаться: сердце готово было выскочить из груди. Я приготовил несколько рукописных копий воззвания, а больше делать было нечего, – ос-

тавалось только ждать. Генерал безотлучно находился в Ронкадоре; домой он вернулся под самый праздник. По его словам, все было готово. Отданы последние распоряжения, все расставлено по местам – в казармах и в соборе. Остальное – в руках Божьих.

Назавтра я выехал на рассвете, чтоб успеть к началу церемонии освящения десятины. Собор «подновили»: самые облезлые стены задрапировали пыльными знаменами, а алтарь украсили зажженными свечами и уставили разноцветными сосудами. В центральном нефѐ толпился народ, в основном деревенские жители, судя по их скромному и набожному виду. Все прошло так, как я описывал со слов генерала, только еще более формально и поспешно. Хор пел из рук вон плохо, церемония еле-еле тянулась. Я укрылся в темном углу поближе к выходу, чтоб меня не было видно из-за столба солнечного света, падавшего через открытую дверь: мне не терпелось увидеть лицо человека, который скоро расстанется с жизнью. Наконец, послышался равномерный топот, и раздалась отрывистая команда. Маршировавшие солдаты встали как вкопанные, музыка смолкла, и в наступившей тишине в проходе выросла высокая плотная фигура в генеральском мундире. Диктатор! При нем было пять-шесть офицеров, в том числе и мой друг генерал Сантос. Разглядеть его я толком не успел. Поближе мне удалось увидеть

его только после окончания службы: он стоял лицом к выходу, в лучах солнца, — вид у него, надо сказать, был угрюмый и тупой, во взгляде — ни капли доброты или понимания. В общем, жалости он у меня не вызвал.

Церемония закончилась, диктатор вышел на крыльцо собора, и в ту же минуту солдаты всех четырех рот — всей, так сказать, армии — гаркнули приветствие: они стояли в парадном каре внутри импровизированной арены для боя быков, открытой только со стороны собора. В наступившей тишине запела труба горниста, посыпалась барабанная дробь, раздалась команда приготовиться к маршу. Роты перестроились в колонну, парадным строем обогнули площадь, прошли, чеканя шаг, мимо диктатора, еще четыре раза проорали приветствие и затопали с площади к казармам. На ступеньках остались стоять диктатор и его приближенные. С них слетела былая чопорность, — официальная часть была закончена, и они вразвалочку двинулись к *ayuntiamiento*, где их ждало угощение.

Начались приготовления к зрелищам. Первым делом замкнули ограду вокруг арены. Бой быков должен был начаться в одиннадцать, и нетерпеливая публика уже вовсю занимала места. Зрители одеты были пестро, кто во что горазд: видно было, что, наряжаясь, они перетряхнули все сундуки в доме. Площадь бурлила. Сам я предпочел остаться

на крыльце собора: я мог укрыться от палящего солнца и беспрепятственно следить за всем происходящим, не рискуя быть замеченным.

Примерно без четверти одиннадцать на площади снова появился диктатор в сопровождении своей камарильи. Впрочем, криков «Виват!» не раздавалось, все сидели спокойно. Диктаторскую ложу охраняли два солдата, причем вход в нее был сзади, с южной стороны площади.

В Ронкадоре не принято, как в Испании, с помпой обставлять бой быков. На *espadas* в тот день были обычные костюмы для верховой езды, а в качестве *muleta*¹ им служило обыкновенное пончо. Молодых быков держали наготове в сарайчике в северо-западном углу площади. С противоположного конца был устроен проход для конных пикадоров. Злости в быках не было и в помине: они лениво отмахивались от *banderillos*², которыми матадоры тщетно пытались их раззадорить. Но неприхотливая публика была и тому рада: зрителей приводили в восторг даже пугливые вздрагивания быка и тщетные наскоки матадора.

В общем, вокруг царили возбуждение и веселье, но мне, признаться, да, наверное, и всем, посвященным в план секретной операции, эта часть праздника показалась слишком затянутой. В действительности же она длилась меньше часа, и за это время по арене успели прогнать трех быков.

¹ Бандерильи (*ист.*). — легкие копыя, украшенные лентами.

Наступил полдень, и я уже начал опасаться за вторую часть программы, – как бы ее не свернули, – но оказалось, что волнения мои напрасны: у жителей Ронкадора – другое ощущение времени, они почти не замечают его течения, да и, потом, *sortija* – игра популярная, и отменять ее в любом случае не стали бы. Как только с арены вытащили последнего быка, рабочие взялись устанавливать раму: ровно напротив того места, где стоял я. А справа, по порядку, выстроились наездники. Мне не повезло, – я не знал, кто из них Итурбид. Всего там собралось около дюжины претендентов, причем такой пестрой наружности, что я никого из них не выделил бы как особо примечательную фигуру.

Минут через десять все было готово. Вдруг собравшиеся загудели в один голос, где-то громко заплакал ребенок, раздался женский смех; было слышно, как высоко-высоко в чистом небе пронзительно кричат ласточки. Из-за жары от земли поднимался запах пыли, смешанный с запахами пота и крови. От нетерпения лошади рыли копытом землю и гарцевали под седоками. Я взглянул на диктаторскую ложу. На нее падала тень, – оазис прохлады среди изнуряющего пекла! С моего места мне было видно, как несколько человек, сняв офицерские треуголки, сидят, откинувшись в креслах, курят сигары, – фалды мундиров касаются земли, из-под них торчат кончики шпаг, а грузная фигура диктатора виднеется в самом центре.

Я быстро оглядел площадь: вот он, Сантос, – верхом на коне, там же, где всадники, но чуть поодаль.

В эту самую минуту рабочие, устанавливавшие раму, подхватили лопаты, топоры и бросились врассыпную. Протрубил трубач, и вмиг все крики в толпе стихли. Только в небе продолжали пронзительно кричать ласточки.

Вот пошел первый всадник, – голова и грудь прижаты к холке коня, копьё держит сбоку у самой лошадиной морды. Вот он проносится между стоек, но кольцо не тронута – по-прежнему болтается на верхней перекладине.

Вот бросаются в бой второй и третий всадник. Под третьим лошадь споткнулась и сбросила седока, – под улюлюканье толпы его уводят прочь с арены. И пока всеобщее внимание приковано к случайному, сыгравшему нам на руку эпизоду, я замечаю краем глаза какое-то движение по эту сторону арены. Здесь, просачиваясь по одному, потихоньку собираются солдаты. Воспользовавшись заминкой, Сантос поднимает шпагу.

Лошадь под Итурбидом – это, конечно же, он – рвется в бой, поднимаясь на задние ноги. С морды падает пена. Мгновение, и она срывается с места в карьер. Бока лоснятся на солнце, как блестящий шелк.

Лошадь со всадником проскакивают сквозь раму, – кольцо так и остается висеть на перекладине. А они мчатся дальше, никуда не сворачивая,

все быстрее и быстрее, – вокруг уже поднялся ропот, люди повскакали с мест. Всадник принял к коню, – теперь они одно целое, только искры летят из-под копыт.

На кончике копья сверкнул солнечный зайчик. Лошадь встала на дыбы, – скачок, перемахнула через перила.

Зрители в замешательстве, что-то беспорядочно кричат, голосят.

Со всех сторон через арену бегут люди.

А по другую сторону, незаметно для всех, Сантос уже выводит из казармы своих вооруженных людей.

Откуда ни возьмись, выныривает лошадь, – одна, без седока.

Вдруг толпа охает. Раздается крик, он складывается в слова: «Дик-та-тор! Дик-та-тор! Убит диктатор!»

Толпа испуганно отпрянула, расступилась. Показались трое, – два солдата вели под конвоем Итурбида. Живой!

Ряды снова сомкнулись, толпа забурлила, пошли расспросы. До меня доносились возбужденные голоса, – в их гвалте тонули все другие звуки.

Вдруг над толпой раздался чистый звук армейского горна, трубящего сбор.

Толпа качнулась на зов и наткнулась на строй вооруженных до зубов солдат, построенных фалангой. С ними генерал на коне. Это генерал Сантос.

– Все по домам! – выкрикнул генерал. – Под страхом смерти – расходитесь! – Толпа подхватила приказ, и он разнесся по всей площади.

Одновременно со стороны собора к южной стороне арены двинулся другой вооруженный отряд. Толпа у диктаторской ложи подалась назад, пропуская взвод. В ложе царила паника: кто-то из офицеров пытался оказать первую помощь смертельно раненому диктатору, кто-то возбужденно комментировал происшедшее. На глазах у изумленных офицеров взвод занял позицию у входа в ложу с ружьями наизготовку, а командир в чине капрала приказал офицерам сдать оружие и под конвоем пройти в казармы.

Офицеры были в полном замешательстве: диктатор убит, путь к отступлению отрезан, им ничего другого не оставалось, как подчиниться приказу. В эту минуту к ним подъехал генерал Сантос.

– Господа, – обратился он к офицерам-испанцам, – от имени народа Ронкадора я принял на себя командование армией республики. Только что на ваших глазах свершился справедливый акт возмездия за длившиеся десятилетиями угнетение и тиранию. Отныне народ в этой стране берет бразды правления в свои руки, руководствуясь принципами свободы и равенства. Отныне и навсегда он свободен от ига военной диктатуры. Господа офицеры, вы арестованы. Вы незамедлительно предстанете перед трибуналом, и ваша

участь будет решена по всей справедливости закона, с учетом всех смягчающих обстоятельства.

Офицеры и пикнуть не успели, как по приказу генерала солдаты обступили их и по команде повели строем с площади. Попрятавшиеся было по домам жители изумленно выглядывали из-под навесов своих веранд: на их глазах в казармы под конвоем вели тех, кто еще час назад держал их в страхе и подчинении.

Тем временем стража заняла боевые посты на всех важнейших точках. Арена опустела, – на земле осталось лежать только тело диктатора. Генерал Сантос выехал на середину площади и зычно крикнул:

– Отныне народ Ронкадора свободен! Тирании – конец! Да здравствует республика!

Впрочем, ответного «ура!» не последовало: все были слишком оглушены происшедшим. Генерал повернул коня и направился в казармы. Заметив, что я один стою на ступеньках собора, он подал знак следовать за ним.

Первым делом необходимо было срочно напечатать воззвание. Благо типографский станок был реквизирован, уже к вечеру листовки в достаточном количестве были изготовлены и розданы населению. С собранием тоже не затягивали: прямо в казармы пригласили главных представителей закона, выборных присяжных заседателей, старост и предложили им принять присягу вре-

менному правительству. Все они, как один, поддерживали новый порядок. Тело Диктатора решено было предать земле без промедления и пышного обряда. Поручили это дело двум опытным монахам. Еще был вызван казначей: его попросили представить отчет о состоянии государственных финансов. Все денежные средства, находившиеся в его распоряжении, равно как и те, что были обнаружены в покоях Диктатора, конфисковали, и вечером того же дня всем армейским подразделениям выдали месячное жалованье.

Целый день мы с генералом работали, не покладая рук, только к вечеру решили сделать передышку и перекусить: еду нам принесли прямо в казармы, где мы организовали штаб-квартиру временного правительства. То и дело гонцы докладывали об отношении населения к перевороту. Из их сообщений следовало, что первоначальное изумление сменилось всеобщим ликованием, и действительно поздно вечером, когда большую часть солдат отпустили по домам, на городской площади народ устроил настоящие гуляния с танцами и песнями, которые затянулись чуть не до утра.

Так свершилась революция. Она мало походила на то, что обычно понимается под революцией. Во-первых, она закончилась почти бескровно: был убит один человек, тиран, которого никто, насколько нам было известно, не оплакивал. Во-вторых, все прошло тихо, — никто особенно не

торжествовал и не радовался. Танцы, устроенные вечером на площади, могли бы с таким же успехом завершить праздник освящения десятины. В-третьих, не было народного героя. Генерал Сантос вел себя подчеркнуто скромно, а настоящий герой, убийца тирана Итурбид был счастлив, что остался в живых. Он даже не выразил желания встретиться с сослуживцами, и только по личной просьбе генерала Сантоса остался в канцелярии, — безучастным свидетелем последствий своего геройского поступка.

В ту ночь все заночевали в казарме. Наутро мы быстро провели опрос штатных сотрудников правительства и произвели новые временные назначения армейских и гражданских чиновников. Меня самого назначили секретарем правительства и даже выделили кабинет и спальню здесь же, в казармах. Кроме самых срочных дел, не терпящих отлагательства, заняться особо было нечем: все должно было решить народное собрание. Только оно было правомочно одобрить декрет временного правительства, изложенный в воззвании, и избрать правительственный совет. Впрочем, одно решение временное правительство все-таки приняло: до заседания народного собрания мы приостановили уплату церковной десятины, что вызвало резкое недовольство епископа. Как ни уговаривал он генерала Сантоса пойти на попятную, тот был неумолим: все вопросы, повторял

он, будут вынесены на суд народа или его представителей. Тогда епископ, напрочь забыв о чувстве собственного достоинства, обычно свойственном церковнослужителям его ранга, начал поносить принципы либерализма, повторяя, что народ слишком туп и невежествен, чтоб управлять страной, что народ – это ребенок, которого надо заставлять слушаться своих учителей, что без принуждения народ снова впадет в дикость и варварство, от которых его отучила Святая Церковь. Но генерал твердо стоял на своем: народ получит то правительство, которое он сам выберет, пусть даже себе на погибель. Только, по мнению генерала, последнего не произойдет, ибо народ по природе своей миролюбив и усерден в разумных пределах, и, если оградить его от эксплуатации падких на прибыль иностранцев, то он заживет спокойно и счастливо.

По просьбе генерала Сантоса я начал готовить обзор экономических ресурсов страны и предложения по доходной и расходной частям бюджета, а также составил список минимального количества общественных учреждений, необходимых для успешного осуществления национальной политики. Он полагал, что выводы должны быть изложены предельно просто: тогда мы сможем представить их народному собранию.

Во все концы страны помчались гонцы с приглашением прислать делегатов на съезд народ-

ных представителей, объявленный в воззвании. Поскольку мы ожидали, что *sasiques*¹ пожалуют со своими женами и детьми, стали думать, где их разместить. На городской площади и на речном спуске начали возводить палаточные городки.

Я опушу подробности подготовительного этапа. Скажу лишь, что оказался вовлечен в нескончаемый поток дел и поручений, — еще бы, ведь впереди были выборы, а в предвыборной суете все падает на плечи членов исполнительного комитета, каковым я и являлся в единственном числе. К моему удивлению, свалившиеся на меня многочисленные обязанности не были в тягость. Да и что может сравниться с радостью командовать парадом, особенно если все приходится начинать с нуля? Какой простор для творческой фантазии, как все подвластно твоей воле, — не только вещи, деньги, образование, всевозможные товары, но и люди тоже: что за благородный материал! В основе правительственной деятельности, равно как и искусства, лежит чувство порядка, и неожиданно для себя самого я целиком отдался процессу упорядочивания и увязывания государственных дел, употребляя для этого свои чутье и честолюбие, которые так долго, с самого моего поспешного отъезда из Англии, лежали под спудом. Я даже начал сомневаться, уж не были ли все эти великие исторические личности — Солон, Це-

¹ Касики (*ист.*). — вожди индейских племен.

зарь, Карл Великий, Наполеон* – в глубине души художниками, искавшими способ самовыражения? Разумеется, между человеком действия, который стремится только к одному – действовать ради действия, так сказать, играть мускулатурой и извлекать из этого занятия удовольствие, и человеком действия, которого ведет некое представление о гармонии и порядке, существует дистанция огромного размера. А ведь есть еще и третий тип: человек, действующий только по воле обстоятельств: он прыгает, так сказать, с одной плавающей кочки на другую, не замечая, как течение сносит его вниз, к водопаду.

Итак, я начал с составления обзора экономических ресурсов страны. По официальной статистике, площадь Ронкадора составляет приблизительно 20 000 квадратных миль, однако при этом не учитывается размытость северных и восточных границ. Несмотря на значительную площадь, плотность населения крайне низкая: помимо незаселенных горных районов на востоке и западе страны, даже в центральной части, в пампасах, население очень невелико. В основном люди селятся в бассейне реки: многие речки и ручейки берут свое начало в горах на западе, растекаются по заболоченной местности к северу, а затем собираются вместе, поворачивая на юг и, вобрав в себя воды восточного бассейна, вливаются в могучую реку, образующую южную границу Ронка-

дора. При испанском режиме колония была чисто формально разбита на тридцать административных округов, во многих из которых не было ни одного населенного пункта. Столица Ронкадор была единственным городом на всю страну. Произведенная мной перепись городского населения показала, что в столице проживает 754 семьи, или 3 064 души, их коллективная собственность составляет 4 632 единицы домашнего скота, 1780 быков, 1510 жеребцов, 3 791 кобылу, 501 мула, 198 ослов, 4 648 овец и несколько коз. Я на- вел справки и о населении, и вот результаты моих подсчетов: в Ронкадоре проживало (на момент составления переписи) около 14 000 семей, или от 50 000 до 60 000 человек, чья коллективная собственность составляла столько-то голов домашнего скота, соответственно пропорции, а поголовье дикого скота не поддавалось исчислению.

Стана была целиком сельскохозяйственная и почти полностью обеспечивала свои нужды. Конечно, это сильно упрощало задачи правительства. Единственно необходимыми статьями ввоза оставались соль, оружие и обмундирование для армии, бумага, различные хозяйственные приспособления и инструменты, а также разные мелкие предметы роскоши. Предметами экспорта были сыромятные изделия, yerba mate¹, сахар и табак, — они с лихвой покрывали затраты на им-

¹ Мате, парагвайский чай (*ист.*).

порт. Недолго думая, я пришел к выводу, что с политикой мудрить не надо, – наиболее верной линией правительства будут поддержка аграрного статуса населения, строгий контроль за торговлей сельскохозяйственной продукцией и покрытие расходов на содержание чиновников за счет излишков от продажи товаров на экспорт. Другими словами, на предметы импорта следует ввести налог, который не превышал бы стоимости экспортируемых товаров. К счастью, мне не пришлось все пересчитывать с учетом разницы стоимости валют, – я полагал, что этот вопрос вообще не должен подниматься, в противном случае нам придется закрыть внешнюю торговлю.

Проводить экономическую политику оказалось не трудно, ведь все торговые операции по купле и продаже были сосредоточены в столице, а провезти контрабанду можно было только через упомянутые мной труднодоступные водопады. Так что река оставалась главным торговым путем.

Пока я занимался экономикой, генерал Сантос проводил чистку администрации. Начал он с того, что уволил без долгих разговоров всех чистокровных испанцев и дал им ровно месяц, чтоб завершить дела и выехать из страны. Тем же, кто был женат на местных, разрешил остаться, при условии, если они присягнут на верность новому правительству и займутся частной предпринимательской деятельностью, скажем, фермерством.

То же он предложил сделать и офицерам испанского происхождения, только после того, как пройдет заседание народного собрания и их освободят из-под стражи.

Народное собрание состоялось точно в указанный срок. За два дня до начала заседания в Ронкадор из всех окрестных деревень съехались вожди и их семьи. Всего прибыло около ста семейств, и всех разместили, как планировали, в палаточных городках. Само заседание проходило в соборе. Что и говорить – публика собралась разношерстная, – в прямом смысле этого слова. Большинство делегатов были разодеты, как павлины: камзолы из белой набивной ткани, короткие, до талии, облегающие жилеты с блестками; малиновые бархатные бриджи до колен с расшитыми по самую щиколотку чулками; синие шелковые пояса; индейские мягкие сапоги с открытыми носами; длинные серебряные шпоры; крохотные кожаные шапочки, из-под которых торчали черные, как смоль, косички. Читать или писать умели немногие, а объяснить, что за вопросы им предстояло решать, могли лишь единицы. Зато все они ясно представляли себе разницу между испанцем и индейцем, и между теми, чья собственность подлежит обложению десятиной, и теми, кто платит налоги.

Большинство делегатов сидели на корточках или стояли, прислонившись к колонне или к сте-

не. Они курили, плевались, разговаривали во весь голос, не испытывая ни малейшего уважения к храму, где вот-вот должно было начаться заседание. Посередине нефа был сооружен помост, и ровно в назначенный час через дверь галереи в собор вошли члены временного правительства и заняли места на возвышении. Кроме меня и Сантоса, «синклит» образовали офицеры-метисы, включая Итурбида, которого успели восстановить в правах и повысить до звания капитана, и еще главный *sacique*, или мэр Ронкадора. Было решено избрать в Совет Трех, согласно постановлению Временного правительства, генерала Сантоса (как же без него?), Паскуаля Арапати, владельца одной из крупнейших *гасиенд* неподалеку от Ронкадора, а также Херманегильдо Чору, судью, уже несколько лет как удалившегося от дел. Труднее всего оказалось найти людей известных и достойных, у которых было бы время вникнуть в вопросы управления страной, людей, не запятнанных испанским происхождением и не коррумпированных. С самого начала мы решили отсечь всех, у кого имелся свой, меркантильный интерес, — впрочем, таковых было немного, и еще предусмотрительно отказались от услуг многочисленных адвокатов: они так кичились своим образованием, что мы поостереглись, не в обиду сказано, пускать козла в огород, — того гляди, узурпируют власть, которую мы с таким трудом вырвали из рук диктатора.

Процедура голосования была очень проста. Как секретарь Совета, я зачитал Декрет, а затем объявил, что, согласно постановлению Временного правительства, народное собрание созвано с целью избрания на законных основаниях постоянно действующего Совета. Я уведомил уважаемое собрание о том, что у нас есть имена трех кандидатов, людей, по нашему мнению, достойных, известных своей честностью и патриотизмом, и мы готовы представить их на суд делегатов. Однако, согласно протоколу, собрание имеет право выдвинуть своих собственных кандидатов на посты членов Совета. Если появятся альтернативные кандидатуры, будет устроено голосование.

Закончив свою речь, я посмотрел на присутствующих. Полная тишина – никакого движения. Я подождал минуты две, а затем как заорю во всю глотку:

– Патриоты свободной республики Ронкадор, вы собрались здесь от имени всего народа, – согласны ли вы, чтоб следующие три года страной управляли ваши преданные слуги: генерал Хризанто Сантос, дон Паскуаль Арапати и дон Херманегильдо Чора? Если согласны, крикните «да!»

– Д-а-а! – мгновенно разнеслось под сводами собора на разные лады: по-испански, по-индейски: это было единодушное «да».

– И еще: согласны ли вы, чтобы я, дон Оливеро, делегат Общества Патриотов, исполнял обязанности Секретаря Высшего Совета?»

И снова в ответ единодушное «да».

Так наша революция стала законным, свершившимся актом.

Начал выступать генерал Сантос. Говорил он доходчиво и ясно. Когда-то, пояснил он, Ронкадор был мирной и цветущей страной, принадлежавшей американскому народу, который жил на этой земле, обрабатывал ее, а она его кормила. Потом, спустя столетия, сюда пожаловали испанцы: они покорили исконных жителей, установили тиранию. Затем испанских тиранов сменили диктаторы, хищники без стыда и совести: народ страдал от их притеснений, люди обнищали, дома пришли в запустение. Однако, новый дух свободы и равенства, – возвысил голос генерал Сантос, дух, рожденный в Европе и завоевывающий там все новых и новых сторонников в разных странах, дошел и до Америки! Во всех колониях испанскому владычеству приходит конец; сами народы, уроженцы Америки, полны решимости стать хозяевами своей судьбы, взять власть в свои руки, жить друг с другом в мире, вместе, для общего блага, пользуясь сокровищами, дарованными землей.

На этой торжественно-риторической ноте и закончилось заседание. Объявили двухдневный праздник – до конца завтрашнего дня. Вечером на площади разожгли огонь, и под аккомпанемент трех-четырех *guitarteros*¹ вожди, их жены и

дочери допоздна отплясывали в компании жителей Ронкадора. Устроили еще одну корриду, где завалили шесть быков, и еще одну *sortija*: слава Богу, обошлось без трагических последствий.

Спустя несколько дней все участники разъехались, и если бы Ронкадор тогда посетил какой-нибудь иностранец, он ни за что бы не догадался, что еще несколько дней назад город бурлил от волнений. Обыкновенная страна, заключил бы он со знанием дела, ничем не выделяется среди прочих стран: как и везде, народ трудолюбив и живет в страхе перед Господом.

Впрочем, мне с моими секретарскими обязанностями благоденствовать было рано. Члены Совета вернулись к привычным занятиям: генерал Сантос – к своим птичкам, Арапати – в поместье, судья Чора снова разлегся в гамаке на тенис-той веранде. Итурбида оставили за старшего офицера, или адъютанта, и я мог на него положиться во всем, что касалось армейской службы. А сам я занялся вопросами экономики и управления.

По правде говоря, никто никаких препон мне не чинил. На импорт соли мы ввели государственную пошлину, и это означало, что в казну скоро начал поступать постоянный и существенный доход. На другие предметы импорта установили тридцатипроцентный налог *ad valorem*¹, но уже через три месяца снизили его до двадцати про-

¹ По стоимости (*лат.*) – о пошлинах, размер которых определяется стоимостью ввозимых товаров.

центов. Я не буду перечислять все административные рычаги, которые я привел в действие с полного одобрения членов Совета, – это утомительно. Скажу только, что, благодаря этим простым практическим шагам в страну вернулось благополучие, и люди зажили припеваючи.

Гораздо сложнее обстояло дело с разработкой принципов управления. Будь житель Ронкадора чисто рациональным существом, чье счастье целиком зависело от его материального благополучия, тогда все его проблемы легко решались бы при помощи эффективной политики управления. В идеале о его духовном благополучии должна была заботиться церковь, – собственно, такое разделение функций и отражала Конституция. Однако церковь в ее тогдашнем виде была не столько продажной, сколько бессильной. Священники и монахи отличались невежеством, а их нравы и воспитание были не лучше, чем у их паствы. Глава церкви, епископ Андрес Веласко, был слишком стар и немощен. С отделением колоний от метрополии связь с Папой Римским практически прервалась.

Обращаться за помощью к членам Совета было бесполезно. Хотя все трое были люди в высшей степени достойные, воспитанные в католической вере, священников они попросту презирали, – что новоиспеченных, светских, что традиционных, ортодоксов. Особую неприязнь они испы-

тывали к монахам, этим откровенным греховодникам, которые, к тому же, по мнению членов Совета, беспардонно влезали в чужую жизнь. Народ в Ронкадоре простой, и свои языческие суеверия люди наивно переносили на христианство. Раи¹, или святого отца, они почитали как наместника Божьего, неукоснительно следуя любым, даже самым нелепым его советам и охотно выполняя любые предписания. Естественно, среди святого братства находились особенно циничные распутники, использовавшие слепое доверие прихожан, и не только, чтобы поглумиться над глупым людским суеверием, но и для того, чтобы плести интриги, создавать атмосферу доносительства, которая, конечно же, была им на руку. Понятно, что членам Совета самим ворошить это осиное гнездо не хотелось, вот они и уполномочили меня разогнать всю эту братию и реформировать устаревшую церковную пирамиду, а кроме того, они просто привыкли к юридической рутине и действовали в зависимости от обстоятельств.

Я бы еще долго вынашивал программу политики просвещения, если б не познакомился с неким отцом Лоренцо. Дело в том, что я начал расспрашивать всех подряд о книгах по истории церкви в Южной Америке, и вот однажды вечером ко мне заявился этот святой отец, монах, служивший при соборе кем-то вроде ризничего, и со словами, что

¹ Отец (*исп.*).

это может быть интересно, вручил мне рукопись. На титульной странице значилось Memoria sobra las Misiones¹, и это, по сути, был отчет о миссионерской деятельности иезуитов в южноамериканских колониях, написанный уже после их изгнания с континента. Внешне отец Лоренцо мало чем отличался от остальных монахов ордена; к тому же, он был еще и толст, и нечистоплотен. Зато по его круглому, слегка насмешливому лицу было видно, что человек он умный, а его прямой взгляд говорил о честности. В душе он был немного циник и лентяй, – я это сразу понял, но историей он интересовался всерьез и был знатоком светской литературы. Он стал расхваливать рукопись, обещая, что я найду в ней массу интересных фактов, уточняющих традиционный взгляд на миссионерскую деятельность иезуитов.

Святой отец оказался прав: следующие несколько дней я не мог оторваться от рукописи, тем более, что ясный почерк безымянного автора-испанца не представлял никаких трудностей для понимания. Что я знал об иезуитах до того, как открыл рукопись? То же, что и другие. Общество иезуитов основал в шестнадцатом веке испанец Игнатий Лойола, не скрывая своей цели – обратить в христианскую веру язычников. Члены ордена проходили суровую школу знаний и дисциплины. Орден посылал своих эмиссаров во все концы

¹ Собрание воспоминаний о миссионерах (*ист.*).

света, и для них не существовало границ: они проникали в самые отдаленные уголки Азии, Африки и Америки. В Америке они обратили в христианство многие кочевые племена индейцев, представляясь им потомками святого Фомы, провозвестниками вечного мира и счастья индейских народов. Как и везде, они скопили там огромные богатства и приобрели большой вес и влияние, что позволяло им беспрепятственно вмешиваться в дела политиков. В конце концов раздражение и зависть светских властей достигли точки кипения и, не без участия самого Папы Римского, иезуитов выдворили с Южноамериканского континента.

И вот теперь я узнаю, что, оказывается, их административная система и общая политика отличались гораздо большими бескорыстием и идеализмом, нежели любой из режимов, когда-либо правивших несчастными индейцами. Если верить рукописи, выходило, что иезуиты прибыли в страну, где мирное население целиком зависело от произвола мародерствующих португальских переселенцев, – те огнем и мечом покоряли жителей и держали их в страхе. Вопреки тысяче опасностей, иезуиты проповедовали индейцам, приучали их жить оседло, прививали им навыки сельского хозяйства, учили ремеслам, а также искусству обороны. Сколько раз эти новые индейские поселения грабили и сжигали, и каждый раз

на место убитых иезуитов вставляли их братья, собирали камни на пепелищах и заново начинали благое дело колонизации.

В своей миссионерской деятельности иезуиты руководствовались одним принципом: они – особая организация, отличная как от светской, так и от духовной власти. Разумеется, они не ставали подчеркивать, что подчиняются Папе – своему духовному наставнику, – и Королю, помазаннику Божьему, но на практике институт власти, ими созданный, был совершенно независим от какой-либо внешней, посторонней силы. Собственно, сложилась парадоксальная ситуация, которая оказалась возможна только в силу труднодоступности района, где иезуиты основали свою миссию.

Братство жило по законам строжайшей дисциплины, так что сбои были исключены. Во главе общины стоял старший, он жил в Канделарии, – это центральная область, откуда ему было легко добраться до любого, самого отдаленного уголка провинции. В подчинении у него находилось два лейтенанта: один жил в районе реки Парана*, а другой – на границе с Уругваем**. Эти двое отвечали за жизненно важные участки работы всей общины. Вдобавок, в каждом городе и каждой колонии сидел помощник пастора, у которого в подчинении был один, а то и два, – в зависимости от величины территории и числен-

ности населения, – заместителя из местных священников. Один отвечал за духовное здоровье членов общины, совершал богослужение и учил прихожан азам чтения и грамматики. Другой ведал делами земными, – обучением населения сельскому хозяйству и ремеслам.

Иезуиты инструктировали индейцев по вопросам самоуправления. Они избирали своих мэра, судей и старост, которые осуществляли делопроизводство в судах и муниципальных советах. Но, естественно, никакого опыта в политических вопросах у народа не было, и приходилось буквально во всем полагаться на помощников пасторов как на людей, облеченных властью. Превыше всего иезуиты ставили принципы абсолютного равенства – равенства во всем: общественном положении, продолжительности рабочего дня и даже в одежде. Избрание на должность они воспринимали как хороший пример для других, еще не удостоившихся подобной почести, как основание для уважительного отношения членов общины, но не как средство наживы или обогащения: работа на благо общества не оплачивалась.

В хозяйственных вопросах власти руководствовались принципом общего пользования. Скот и табуны мустангов являлись общенародной собственностью. Всю сельскохозяйственную продукцию делили поровну или складывали про запас. Прибыль от продаж шла в «фонд общины» на

нужды строительства или ремонт храмов, на содержание больниц и школ.

Такая борьба за равноправие, тем не менее, хорошо уживалась у них с автократическими замашками. Те требовали от прихожан неукоснительно посещать богослужения и ни на шаг не отступать от морального кодекса христианина. Дело дошло до того, что они занялись исправлением супружеских привычек индейцев. В деревнях взяли за правило несколько раз за ночь бить в барабаны, и все для того, чтоб разбудить нерадивых мужей и напомнить им об их прямых супружеских обязанностях: индейцы по натуре весьма инертны, и для них нет большего удовольствия, как хорошенько поспать после тяжелого трудового дня.

Можно не сомневаться: за два столетия своей миссионерской деятельности в Южной Америке иезуиты скопили немалые богатства – в виде земельной собственности, скота, церковной утвари из серебра и золота. Ясно, что с таким влиятельным собственником трудно было не считаться, и одно это вызывало острую зависть у гражданских и духовных чиновников из метрополии, которых присылали с инспекцией, и которые, надо думать, рассматривали колонии прежде всего как собственную вотчину. Что за этим последовало, хорошо известно: иезуитов прогнали. Для индейцев это стало катастрофой. Не прошло и нескольких месяцев, как они стали жертвами произвола, гра-

бежа и просто дурного начальства. Численность местного населения начала падать, угоды быстро сокращались, и постепенно аборигены впали в нищету и полное безразличие к своей судьбе. К ним, вместо братьев иезуитов, присылали священников и монахов – они их на дух не переносили. Над ними установили двойную власть, – они ее не понимали. Они привыкли, что власть одна – это Иезуитский орден, и он через своих помощников вершит дела небесные и земные. Теперь же им предлагали одну власть в лице священника, а другую – в лице чиновника, а поскольку интересы этих двух властей постоянно сталкивались, индейцы то и дело попадали впросак. Положим, священники постановили, что богослужение начнется в такой-то час, и всем жителям надлежит явиться в церковь. А после оказывается, что для муниципального начальства это время неудобно. Начинался спор, никто не желал уступить, а в результате виноватыми оказывались индейцы.

Так мало-помалу колонии, точнее, миссии, основанные иезуитами, беднели, разорялись, попадали в рабство; население частью повымерло, частью выродилось, задавленное тупым начальством, и постепенно следы миссионерской деятельности иезуитов стерлись, точно их и не бывало. Еще немного, и целый континент погрузился бы в первобытное состояние, но, к счастью, этого

не произошло. А не произошло это благодаря полукровкам, – выходцам из смешанных семей. Чистокровные испанцы их всегда презирали, а те, в свою очередь, сопротивляясь враждебному отношению, выработали в себе что-то вроде расового самосознания и стремления во что бы то ни стало возродить свою родину. Они пропагандировали свободу и независимость от Испании. Если б не они, процесс образования самостоятельных республик так бы и не начался: меня убеждал в этом опыт работы в Ронкадоре.

Из чтения рукописи отца Лоренцо я вынес несколько убеждений, с которыми не расставался до конца своего пребывания в Ронкадоре. Я допускаю, что неизвестный летописец нарисовал слишком благостную картину миссионерской деятельности иезуитов. Вполне возможно, я и сам добавил к его сухому рассказу свою заветную идею общественного устройства, почерпнутую у Платона: за несколько лет до описываемых событий я с огромным воодушевлением прочитал его «Республику» и, возможно, машинально перенес некоторые его идеальные представления на колонии, созданные иезуитами. Но как бы ни было, те решимость и бойцовский дух, что я в себе тогда почувствовал, не были голой абстракцией: они родились из моей убежденности в том, что теория и история взаимосвязаны, и что в определенных обстоятельствах необходимо прямое действие.

Мне было ясно, что создать крепкое правительство можно лишь при известных условиях, и я четко сформулировал для себя основные принципы. Во-первых, должна быть одна власть. Под словом «одна» я вовсе не имел в виду власть, единолично сосредоточенную в руках одного человека. Да, верно, иезуиты в конечном итоге полагались на авторитет старшего – главы их братства, но управление каждой миссией было возложено на двух помощников: один ведал делами духовными, другой – земными. Оба они были движимы одной нравственной целью, а это только укрепляет власть и делает ее эффективной. Во-вторых, государство должно быть самостоятельным. Этот принцип вытекает из предыдущего, ибо если одно государство зависит от другого хотя в одной из своих жизненно важных потребностей, то власть внутри данного государства ослабевает ровно на эту потребность. Оно начинает растрачивать свое влияние в обмен на товары и денежные знаки и не замечает, как его начинает теснить конкурент – соперник невидимый, неосязаемый и потому вдвойне опасный. В-третьих, государство должно быть вооружено на случай вторжения. Опять-таки, принцип, связанный с двумя первыми, ибо плохо или вовсе невооруженное государство рано или поздно становится предметом зависти алчных соседей. В-четвертых, государство должно быть неподкупным – другими словами,

оно должно пресекать любую подрывную деятельность. Недовольство всегда возникает на почве несправедливости, причем последняя указывает не только на неспособность администрации употребить установленные законы на общее благо, но также и на существование независимой от политики социальной несправедливости, главной из которых является материальное неравенство.

Чем глубже я вникал в историю иезуитов, тем сильнее укреплялся в мысли о том, что они потерпели фиаско по одной-единственной причине: их богатство не давало покоя князьям и бандитам, а обороняться от захватчиков они не умели.

Я легко добился согласия членов Совета ввести определенные меры, которые обеспечивали бы соблюдение вышеназванных принципов управления государством. Мы установили низкий, но приемлемый уровень жалованья – как для меня, так и для всех офицеров и чиновников: на эти деньги можно было безбедно существовать, но излишков, чтоб отложить, так сказать, на черный день не оставалось. Профессиональную армию упразднили, оставив только кадровых военных, зато каждая семья обязана была предоставить одного здорового мужчину, который исполнял бы воинскую повинность до тех пор, пока его не сменят. Чтоб обеспечить этническую однородность населения, ввели запрет на браки между чисто-

кровными испанцами, и тем самым был автоматически решен вопрос об ассимиляции иностранцев. Отныне ни один иностранец не мог самовольно въехать в страну – только по специальному разрешению. Захотел иностранец поселиться в стране – изволь, женись на девушке из местных. С социальным недовольством было покончено: отныне по закону у всех были равные права. Право на свободное землепользование было передано государству, по закону все землевладельцы, или, по-испански, *estancierias*, обязаны были трудиться на общее благо, в противном случае их лишали права владеть землей. Допускалось одно-единственное различие – по видам труда: кто-то руководит фермой, а кто-то – государством; поскольку способности у людей разные, то и области применения у них разные, а вот оплата труда у всех одна и та же.

В первый же год деятельности нашего правительства мы приняли законы, обеспечивавшие соблюдение данных принципов, однако потребовались долгие годы, чтоб этот механизм заработал без сбоев. Например, очень скоро пришлось депортировать из страны группу бунтарей-испанцев. Потом несколько купцов объявили о своем банкротстве: в ответ им предложили взять в свободное землепользование участки в прериях или же, если этот вариант их не устраивает, покинуть страну. Отдельные *estancierias* противились

конфискации излишков производимой ими сельскохозяйственной продукции, но опять же единственной альтернативой в этом случае была эмиграция. В целом, трудности были невелики – особенно если сравнивать со странами, давно сформировавшимися в социальном и экономическом плане. Наши задачи существенно облегчало отсутствие социальных преград, хотя Ронкадор прошел через рабство, и среди крестьянской бедноты было немало людей совсем темных и нищих. Главное, что общество было бесклассовым (если не считать испанцев), и нам нужно было лишь найти способ уравнивать достаток всех его членов.

Если коротко, наш метод сводился к следующему. Мы постепенно определили число дней, когда отдельно взятый работник трудится на себя, а когда – на государство. Дни, когда он работает на государство, контролирует *estancia*; произведенная продукция сдается, и часть ее идет на нужды производителя. Излишки же, предназначенные для государства, собирают в амбарах и на складах, и так в каждом городе и районе, а затем они обмениваются на продукцию, изготовленную ремесленниками. Положим, стачал сапожник пару сапог, – пожалуйста, он мог, согласно установленному тарифу, получить за них определенное количество чая, табака, говядины или кукурузы. То, что оставалось сверх натурального обмена, скапливалось в столице, и затем купцы

меняли эти излишки на предметы импорта. Ввозимая продукция делилась на два вида: потребительскую, от поваренной соли до ювелирных украшений, и государственную, например, обмундирование для армии. В случае превышения экспорта над импортом допускалось, чтобы денежная разница оставалась на кредитных счетах иностранных поставщиков; превышение же ввоза над вывозом было категорически запрещено.

Вот и вся наша нехитрая экономика, однако я вовсе не тешу себя иллюзией, что эту модель можно с тем же успехом применить и в более цивилизованных странах. Она доказала свою жизнеспособность в государстве Ронкадор – здесь нет никаких сомнений. По истечении трехлетнего срока деятельности первого республиканского правительства в стране воцарились мир и благоденствие. Мужчины и женщины жили в атмосфере взаимного доверия, возделывая землю и вкушая в изобилии плоды трудов своих.

Правда, обнаружилось одно непредвиденное обстоятельство. Через три года срок действия избранного Совета истек, и, согласно Конституции, необходимо было снова созывать народное собрание и переизбирать правительственный Совет. Когда подошел срок, я нанес визиты всем трем членам Совета. Первым делом я отправился к Херманегильдо Чора. Все три года он отнекивался, когда его приглашали на заседания Совета,

отговариваясь тем, что он-де стар и немощен. Застал я его на веранде: он сидел, откинувшись в кресле, и на темном фоне внутренних покоев выделялась его седая, отливавшая серебром голова. Ему исполнилось восемьдесят три, — он просил проявить уважение к возрасту и оставить его в покое. Он был уверен в компетентности нынешних руководителей, и, со своей стороны, полагал, что может без колебаний доверить управление государством исполнительному комитету.

Тогда я поехал встречаться с доном Паскуалем Арапати. Я нашел его в открытом поле: он присматривал за сбором чайных побегов. Операция эта очень ответственная, требует от сборщиков большого умения: прежде чем снять листики с веточек, растение осторожно обжигают на открытом огне. Дон Арапати продержал меня в поле целый день, до самого конца вечерней смены, а затем пригласил составить ему компанию за ужином. Стол был накрыт в *estancia*, все сидели вместе — и хозяин и работники, и ели из одинаковой посуды. За столом царило оживление, веселье, хохотали до изнеможения, до испарины. В общем, было не до разговора. Только под конец, за сигарой, я все же улучил свободную минуту и объяснил дону Паскуалю, зачем пожаловал. А тот даже слушать не стал.

— Вернешься в город, объяви собранию от моего имени, что у них лучшее правительство в мире,

и что только дурак может вмешиваться в его работу, — таков был его ответ. Сам он-де слишком занят, чтоб отвлекаться на государственную службу. Это занятие для людей ученых, — для дона Херманегильдо и генерала Сантоса.

В общем, я был близок к панике, когда, в конце концов, ничего не добившись от двух членов Совета, добрался до фермы генерала. Как вы легко догадались, я застал своего старого друга за его излюбленным занятием — кормежкой колибри. Ручные птички все так же доверчиво порхали вокруг его гусиных перьев с сахарным сиропом, и ничто не нарушало эту трогательную идиллию. Когда я рассказал ему, как отнеслись к вопросу переизбрания его коллеги, он улыбнулся, как философ, и не выказал ни малейшей обеспокоенности. Но обещал подумать и прибыть на заседание собрания с новыми предложениями.

Заручившись поддержкой Сантоса, я разослал приглашения индейским старейшинам прибыть в назначенный день на собрание. Однако небывалое дело: один за другим вожди начали отказываться от участия в народном собрании, объясняя через гонцов, что слишком заняты на своих фермах и не могут выкроить ни дня. Всего таких вежливых отказов набралось около двухсот, причем во многих указывалось, что их авторов вполне устраивает правительство дона Сантоса и его Совета.

Естественно, я встревожился и тут же письмом уведомил о происходящем генерала, но ответа не последовало. Наступил день выборов, а на улицах Ронкадора было не больше шума, чем в обычный рыночный день. Всего в Ронкадор съехалось около восьмидесяти вождей с семьями, но и из них далеко не все соизволили принять участие в собрании, проходившем, как и в прошлый раз, в соборе. В назначенный час мы с генералом Сантосом, в сопровождении Итурбиды, вошли в собор через галерею. Я обратился к небольшой группе делегатов с приветственным словом, пояснив, что, согласно Конституции, собрание обязано избрать новый состав Совета, поскольку прежний завершил положенный ему трехлетний срок деятельности. Я огласил просьбу отсутствующих дона Херманегильдо Чора и дона Паскуаля Арапати освободить их от почетных, но обременительных обязанностей членов Совета: первого – по причине его преклонного возраста, а второго – на основании его желания посвятить себя целиком делам на ферме. Таким образом, собранию предлагается выдвинуть две новые кандидатуры на должности членов Совета.

Тут слово взял генерал Сантос. Он отметил, что также желал бы удалиться от активного участия в управлении страной. Он отдал Ронкадору всю свою жизнь и остаток дней хотел бы посвятить тихим радостям сельской жизни. Он последний

раз участвует в собрании не с целью быть переизбранным или предложить преемника: он просто хочет передать полномочия действующего Совета вновь избираемому составу.

Дальше я обращаюсь к собранию с просьбой назвать имена новых кандидатов в Совет, – никакой реакции. Вижу: вожди собираются группками, что-то оживленно обсуждают, однако никаких предложений не делают. Ждем десять минут, а затем, переговорив с генералом Сантосом, решаем устроить перерыв на один час, чтобы делегаты могли выработать какое-то общее предложение. Объявляю о нашем решении собранию, после чего мы все втроем удаляемся в казармы. Там мы, посоветовавшись, приходим к заключению, что если выдвижения кандидатов не последует, мы внесем предложение о продлении полномочий Временного правительства под моим руководством, при сохранении действующего состава Совета в качестве консультативного комитета.

Через час мы снова предстали перед собранием, и оказалось, что ряды делегатов за время перерыва совсем поредели: многие отправились обедать, а те, кто остался, по-прежнему о чем-то оживленно спорили, собравшись группами. По отдельным долетавшим до нас словам, я понял, что обсуждают состояние скота и урожая, а вовсе не вопрос формирования правительства. Я попросил тишины и снова обратился к собранию с вопросом о

кандидатах. Тут вперед выступил высокий, внушительного вида индеец-метис.

— Господа, — начал он, — зачем мы здесь даром просиживаем время? Мы довольны правлением дона Оливеро; он — дока в этих вопросах; и пусть себе руководит нами на здоровье. Разонравится нам, тогда мы здесь и встретимся.

В ответ раздались одобрительные возгласы, и люди стали расходиться, — у меня даже не было времени возразить или поскромничать, хотя бы для виду.

Так я стал единоличным правителем государства Ронкадор и оставался им следующие двадцать пять лет. Оглядываясь назад, я затрудняюсь восстановить ход событий, произошедших за такой долгий срок. Проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, особенно поначалу, были в основном практического свойства; самое интересное, что в областях, вызывавших у меня наибольшую тревогу, — это церковь и армия, — мне сильно помогали мои подчиненные, у которых не было стремления выслужиться, и которые законопослушно и разумно распоряжались данной им властью. Итурбид получил звание генерала и пост главнокомандующего армейскими частями. Он с большим тактом и очень умело руководил системой воинской повинности, а в редких случаях военных действий против бандитов или захватчиков проявлял такие чудеса храбрости и

полководческой прозорливости, что, если бы подобные операции имели место на европейских полях сражений, он давно снискал бы себе вечную славу. Увы, новости из Ронкадора редко просачивались в мировую прессу, поэтому Итурбиду приходилось довольствоваться благодарностью правителя и любовью народа.

С Церковью проблем было еще больше, но и здесь я нашел на кого опереться: авторитет брата Лоренцо только рос в моих глазах, и поэтому после смерти старого, выжившего из ума епископа, его полномочия по моему настоянию были переданы этому достойному сыну церкви. Я рассказал ему о том, какой мне представляется церковь: если она живет по принципам своего Основателя, учит людей любить друг друга, а ее святые отцы живут скромно и целомудренно, ухаживают за больными и немощными, проявляют милосердие к страждущим, такая церковь получает полную свободу и власть во всех вопросах духовной жизни. Епископ Лоренцо придерживался такого же мнения, однако задача очистить духовенство от скверны была не из легких. Если бы мы лишили сана всех продажных церковнослужителей, то половина приходов в Ронкадоре осталась бы без священников. Поэтому мы выбрали другой путь: открыли семинарию для подготовки молодых священников, и, как только новоиспеченные служители церкви заканчивали курс и получали сан,

их направляли в приходы, а старых, запятнавших репутацию, – смещали. Такая практика быстро охладила горячие головы нерадивых священников, но для того, чтоб полностью очистить духовенство от заразы, потребовались многие годы.

Вообще искусство управления – это умение наделять властью. Здесь самое главное – так распределить полномочия, чтоб власть всегда была при тебе, как мячик на резинке: большой ли мячик, маленький, длинная веревочка или короткая – не важно: главное, что, стоит тебе пальцем шевельнуть, как переданные полномочия моментально возвращаются в твои руки. Идеальный правитель – тот, кто распределил все до единой функции, оставаясь при этом в самом центре, чтоб в любую минуту все нити власти снова оказались у него в руках: если хотите, невидимка, это манипулятор, кукловод, управляющий тысячей умелых марионеток. Конечно, в государствах с более сложной системой управления механизм распределения власти более структурирован, а в Ронкадоре, с его нехитрой экономикой, я один мог держать в руках все рычаги власти.

Наконец, государственная машина была отлажена и заработала без сбоев, – тогда я занялся улучшением коммунального хозяйства. Казна наша год от года пополнялась, но я предпочитал сразу пускать деньги в оборот, по мере накопления, ибо финансы, лежащие без движения, – это

деньги, выброшенные на ветер. Поэтому я разработал план застройки столицы и оборудования коммуникаций. Вооружившись теодолитом и мерной цепью*, я обошел все городские улицы, облазил все закоулки, отметил каждую деталь рельефа, каждую впадину или подъем, распорядился что-то снести, а что-то перестроить. По моему приказу возобновила работу каменоломня, где иезуиты когда-то добывали гранит: теперь этот камень пошел на новое дорожное покрытие для центральных улиц столицы; на строительство больницы для гражданского населения, на новые, более прочные дома для жителей, взамен старых ветхих лачуг. Поначалу эту деятельность воспринимали скептически, – еще бы, ведь пришлось задействовать личный транспорт горожан и организовать добровольную работу на стройке. Но когда нововведения начали обретать зримую форму, жителям Ронкадора это понравилось, они прониклись гордостью за похорошевшую столицу, и с каждым годом в Ронкадоре прибавлялось архитектурных красот и коммунальных удобств.

Не скупился я и на перевооружение армии. Из Европы нам поставляли новейшие модели ружей и военной техники. Я сам придумал новую армейскую форму, – такой яркой и элегантной не было нигде в Южной Америке. Принцип, которым я руководствовался, был прост: низшие чины получают самую нарядную форму. За редким исключе-

нием, вся армия была конной. Так вот, у рядового был алый мундир, отделанный золотым крученым шнуром по пластрону и поясу, и розовато-кремовые голифе в обтяжку, как у гусара. Воротник и обшлага мундира тоже были розовато-кремовые, на сизой подкладке; погоны сизого цвета – на желтой подкладке. Сапоги и головной убор из черной кожи, на фуражке – серебряная кокарда. У офицеров, – после сокращений их в армии осталось немного, – новая форма имела гораздо более сдержанный вид: мундиры простого покроя, без отделки, различались между собой только по цветам, обозначавшим принадлежность к тому или иному полку. Главнокомандующий носил мундир и брюки черного цвета, золотые эполеты и кокарду.

Сам я одевался как можно незаметнее, стараясь не привлекать внимания к своей персоне: неизменные плащ, бриджи до колен и сомбреро – все черного цвета. Бытовые условия – самые скромные: две комнаты в казармах на втором этаже, и один слуга. Однако я быстро понял, что народу нужен ритуал, и нет ничего хуже скучного и безликого правительства. Поэтому я распорядился, чтоб перед Домом Правительства (так теперь именовались казармы) ежедневно несли караул конные гвардейцы, а во время карнавалов и праздников устраивался военный парад. На этих торжествах я обычно появлялся верхом на белом ко-

не и, как принято, со всем почетом принимал приветствия армейских подразделений. Я взял за правило сохранять на публике полную невозмутимость. С подчиненными всегда держал ровный нейтральный тон. Ни в каких массовых развлечениях не участвовал. Отдыхать ездил только на ферму к генералу Сантосу, которая, после его смерти, перешла к старшему сыну. Там я наслаждался общением с природой, охотился, плавал, даже построил себе небольшой домик, где держал ружья, удочки и небольшую библиотеку.

Шли годы – без войн, без бунтов. За все это время только один раз пролилась кровь, и то не без моего участия. Случилось это на четвертый год моего диктаторства, и вот каким образом.

Время от времени в пампасах к юго-востоку от Ронкадора, – на этих необъятных землях, уследить за которыми правительства были не в состоянии, так они были обширны, – появлялись банды разбойников. На суше они промышляли грабежом, на реке устраивали пиратские набеги на торговые суда. Мало того, что они держали в страхе все местное население, – они тормозили развитие нормальных торговых отношений между Буэнос-Айресом и центральными частями Южной Америки. Общая политическая нестабильность была им на руку, их ряды пополнялись за счет дезертиров, отчаянных головорезов, умевших, к тому же, обращаться с оружием. Верхово-

дил у них бандит по имени Варгас, присвоивший себе, как водится в тех местах, чин генерала. Он собрал под своим началом до тысячи сторонников, в основном индейцев, – а индейцы, как известно, наездники превосходные. Что бандитам нужно? Пастбища для лошадей да мясо каждый день: того и другого было в избытке на безлюдной плодородной равнине, где они обосновались. А вот боеприпасы, одежду и вино им приходилось добывать разбоем, грабя торговые суда на реке, служившей водной магистралью.

Случилось так, что этот самозванец, генерал Варгас, разбил лагерь в ста милях к югу от водопадов, образующих естественную границу Ронкадора. Место было выбрано удачно, – река там как раз разливается, обмывая с двух сторон низкий лесистый остров, расположенный ровно посередине. Что делает Варгас? Стоя на берегу, он обманом задерживает судно, и, пока команда разбирается, в чем суть дела, из-за острова вылетает лодка с его дружками-бандитами, и они грабят зазевавшегося капитана.

Поначалу Варгас не трогал суда, которые шли в Ронкадор, но постепенно, почувствовав свою безнаказанность, обнаглел и дошел до того, что однажды захватил большую партию оружия и обмундирования, предназначавшуюся для ронкадорской армии, а команду взял в плен и держал в качестве заложников в своем лагере. Терпеть

дальше было нельзя, и, зная, что обращаться к правительству страны, гражданином которой являлся Варгас, будет напрасной тратой времени, я решил действовать в интересах общей безопасности своего народа. Более того, я решил сам возглавить карательную операцию. До сих пор я ни разу не участвовал в боевых действиях, и тут мне впервые представился случай доказать гражданам Ронкадора, что я не только умелый администратор, но и храбрый воин. Сколько раз на собственном опыте я убеждался в том, что глубокое различие между человеком действия и мечтателем вовсе не означает, что смелость присуща исключительно первому типу. Напротив, я был склонен полагать, – опять-таки опыт мне порукой, – что физически сильный человек часто оказывается в душе трусом и пасует перед лицом смертельной опасности, тогда как более слабый, созерцательный тип демонстрирует решимость и готовность действовать, благодаря преобразующей силе фантазии. Храбрец – тот, кто умеет играть со смертью, точно она – каприз или причуда.

С помощью Итурбида я разработал план операции. Мы сделали ставку на внезапность нападения, – мне не хотелось задействовать всю армию. Было решено атаковать лагерь Варгаса разом с реки и с суши, и для этого нам должно было хватить сто пятьдесят бойцов. План был такой. Итурбид со своим отрядом из ста всадников направля-

ется в условленное место, и там ждет сигнала с реки. Эта вторая, «речная» часть операции потребовала более тщательной подготовки. Мы придумали оснастить две лодки: местные жители называли их *piraguas*, их использовали для сплава грузов по реке. По форме это сооружение напоминало огромный корабль с квадратным плоским днищем и округлыми бортами, которые сходились кверху, образуя квадратную палубу, вдвое большую по площади, чем днище: эдакая усеченная перевернутая пирамида. Вокруг палубы сооружалась галерея или проход, в котором могли свободно разместиться гребцы. Серединку трюма *piragua* обычно набивали тюками с товаром, сверху настилали доски, на них укладывали еще слой груза, а между верхним слоем и палубой оставляли место для каюты, которую маскировали шкурами. Грузоподъемность такой плавающей башни составляет двести тонн, ее обычно пускают на воду вниз по реке с командой гребцов и рулевым.

Для операции мы оснастили две такие *piragua*, только вместо тюков с *yerba* и шкурами мы заложили мешки с песком – примерно такого же размера; середину трюма оставили пустой, а между мешками сделали зазоры под амбразуры. У нас получились две плавающие крепости, каждая с двадцатью четырьмя бойцами на борту.

Piragua идет медленно, со скоростью четыре мили в час. По моим подсчетам, таким тихим хо-

дом мы должны были добраться до лагеря Варгаса за сутки. Атаковать решили на рассвете: в ранний час больше шансов застать бандитов врасплох, после очередного ночного дебоша.

Мы дождались полнолуния, – так легче передвигаться ночью по реке, и ранним утром я двинулся в путь с обеими piraguas. Вскоре вслед за нами должен был отправиться Итурбид с отрядом всадников, – им было ближе до условленного места встречи, чем нам. Я устроился на палубе одного из наших замечательных корыт, и мы спокойно, без приключений поплыли вниз по реке. В течение дня нашей главной заботой было удерживать неповоротливые крепости в поле зрения друг друга, не давая им разойтись на большое расстояние: то и дело одно или другое судно попадало в водоворот, и его начинало крутить вокруг своей оси, как веретено.

Ночь выдалась тихая, ясная, небо было усыпано звездами. С берегов, поросших лесом, не доносилось ни звука, в полной тишине мы медленно, неуклюже продвигались по водной глади; нас выдавали только поскрипывание уключин да плепки весел по воде: казалось, мы вторгаемся в безмятежную жизнь стихии. Рулевые по очереди сменялись за штурвалом, позволяя друг другу подремать, а я спать не мог, – красота ночной природы и мой собственный азарт не давали мне сомкнуть глаз. Я напряженно всматривался в темноту, стараясь

не пропустить место встречи с Итурбидом, – впрочем, это было бы трудно: река там делает поворот, и берег за ним открытый, песчаный. В предрассветный час мы были в условленной точке; встав на якорь у противоположного берега, мы для верности привязали наши посудины к стволам кряжистых деревьев.

Вокруг оживал лес: на разные голоса защибтали птицы, – заливисто, пронзительно-резко. Вдруг увертюра разом смолкла: хлынул солнечный свет, и в ту же минуту я заметил на другом берегу всадника: он трижды помахал белым платком – то был условный знак. Значит, с Итурбидом все в порядке, и можно начинать наступление. Подав ответный знак, я приказал судам сняться с якоря и готовить орудия к бою. До лагеря Варгаса оставалось три мили ходу, на реке было по-прежнему пусто, и через какие-нибудь полчаса мы уже стояли в излучине реки, омывающей остров. Прежде чем направить судно влево, ближе к тому берегу, где стоял разбойничий лагерь, я связал канатом обе посудины и приказал всем бойцам, кроме четверки гребцов, занять позиции у амбразур.

Мы находились всего в четырехстах метрах от лагеря: по плану, среди бандитов уже должна была начаться паника. Однако вокруг не было ни души, лагерь будто вымер. И тогда мне пришлось дать залп по береговой линии. Стреляли наугад, но выстрел все же возымел действие: снарядам, видно,

задело лошадь, и от ее громкого ржання в лагере все проснулись. Из палаток повыскакивали бандиты: озираются спросонок, не понимая, откуда стреляют. Не теряя ни секунды, я приказал трем бойцам с ружьями бежать на палубу и изобразить, что они целятся, — якобы наша снайперская группа. Судно развернулось бортом к берегу, с палубы раздались выстрелы, — бандиты разбежались. В отдалении послышалась ругань. Мы развернулись другим бортом, уже метрах в ста от берега, и тут на берег вывалила целая вооруженная толпа и стала что-то кричать: видно, угрожали, а может, требовали, чтоб мы пристали к берегу. Я отдал приказ бойцам спрятаться за мешками и песком и снова открыть огонь. Мы так близко подошли к сгрудившимся на берегу бандитам, что нескольких задела, и те упали. Остальные, отбежав вглубь, к опушке, открыли огонь по судам, представлявшим собой дрейфующую мишень. Вот когда я оценил преимущество индейских посудин! Каким боком мы ни поворачивались к берегу, перед стрелявшими бандитами каждый раз оказывалась глухая стена. Мы палили из всех орудий, — с берега отвечали тем же. Единственная разнища заключалась в том, что бандитские пули в основном застревали, не достигнув цели, в мешках с песком. Редко когда их пробивали насквозь: таким образом у меня на судне двоих ранили, а еще одного, на другом судне, убили наповал.

Приближался самый ответственный момент атаки, – от нетерпения и возбуждения меня буквально трясло. Как я и надеялся, течением нас отнесло на середину реки; если бы этого не случилось, мы бы подошли вплотную к берегу, к тому самому месту, где у Варгаса была устроена небольшая самодельная пристань, и нам пришлось бы продолжить бой, а нам это было ни к чему: ружья у нас сильно разогрелись, и мы, в нашей плавучей крепости, почти задыхались от порохового дыма. А главное, подошел момент, когда в бой должен был вступить Итурбид со своим отрядом. Стояла такая оглушительная пальба, что мы самих себя не слышали. Вдруг на берегу все стихло – верный знак! Я выскочил на палубу, но в первую минуту ничего не разобрал: понял только, что Итурбид со своими людьми в самой гуще схватки. Вглядевшись, я увидел на горизонте спасающуюся бегством группу всадников, мчавшихся во весь опор.

Гребцы снова сели на весла и направили оба судна к берегу: нас немного снесло вниз, и пристали мы в полумиле от причала. Я послал разведчика найти удобный спуск и заодно доложить обстановку. Не успели мы его проводить, – он возвращается назад, в сопровождении всадника, посланного Итурбидом. Оказалось, успех нашего плана превзошел все ожидания. Отряд застал лагерь врасплох. Бандиты и так были напуганы неожиданной атакой с реки, а тут еще налетели всад-

ники, – началась жуткая паника. Засвистели пули. Полуодетые бандиты хватали первых попавшихся лошадей и, даже не взнуздав их, мчались прочь. Не успевших убежать тут же разоружали и вели на берег.

Пересев на скакуна, доставленного гонцом, я стрелой полетел в лагерь. Для полного успеха нашей операции нам нужно было взять Варгаса живым или мертвым. Со стороны лагеря доносилась беспорядочная стрельба. Тогда я взял ближе к берегу и очень скоро наткнулся на наших конвоиров, гнавших вдоль вытянутого полумесяцем пляжа человек двести пленных бандитов: те плелись, как стадо баранов. Узнав, что Итурбид все еще очищает лагерь от головорезов, я поспешил на подмогу.

Бандитский бивак представлял собой странное зрелище – нагромождение наспех поставленных палаток, крытых кожами. В центре кое-как расчищенной площадки стояла деревянная хибара – штаб-квартира Варгаса. Там-то и засели бандиты, держа круговую оборону и отстреливаясь через окна и бойницы. Меня сразу заметили и угостили пулей, – она слегка задела мне правое плечо. Я спешил и, хоронясь за шкурами палаток, перебежками начал осторожно пробираться к дому. По пути наткнулся на своих: двадцать молодцов из отряда Итурбида вели из укрытия огонь по штабу. Итурбид был с ними, но

нам было не до приветствий. Я знаком показал ему, чтоб он оставался на месте и продолжал руководить обстрелом дома, а сам, с ружьем, залег за тюками с кожей.

Засевших бандитов было не больше шести-семи человек, и дело их было проиграно. Итурбид приказал своим людям держать дом под прицелом, но стрелять только по необходимости. Часа два продолжалась эта вялая перестрелка, а потом, выждав еще полчаса, мы решили взять дом штурмом, выбив входную дверь бревном. Приготовления были в разгаре, как вдруг распахнулась дверь хижины, и на пороге появился человек – безоружный, он медленно, тяжело шагал прямо на нас. Оказавшись в пределах слышимости, он поднял руки вверх, показывая, что сдается, и крикнул: «Все кончено! Генерал умирает». Вид у заложника был убитый – видно, что не врет. Мы ворвались в дом: всюду раненые и убитые. Особую мрачность обстановке придавали валявшиеся вперемешку с телами раненых черепа быков. В таких лагерях ими обычно пользуются, как кувалдами, а эти несчастные цеплялись за них руками: зловещие символы смерти.

Варгасу прострелили горло, он умер тихо. Всего мы насчитали сорок убитых, включая семерых наших. Тела решено было положить у стен деревянной хижины, сверху навалить всякий мусор из обломков лагерных построек и поджечь. Так и по-

ступили: сложили громадный погребальный холм и зажгли. Боеприпасы мы заранее оттащили на берег, чтоб после погрузить на судно до Ронкадора. Оставались пленные: их было много, и мы не знали, что делать, — держать их в плену было накладно, а наказывать за злодеяния Варгаса не хотелось. Тогда мы решили без лишних слов погрузить их на наши посудины и пустить без весел вниз по реке. Правда, потребовалась небольшая перестройка, — закончили мы затемно. Отловив лошадей из табуна, захваченного в качестве трофея, мы полетели в ночную мглу. За нами вставали всполохи догоравшего погребального костра, впереди стелился освещенный звездами путь на Ронкадор. Скакали молча, притом что возвращались победителями: только дробно стучали копыта да позвякивали уздечки.

В той операции я играл вспомогательную роль — героем дня был, конечно, Итурбид, и я наградил его сполна, воздав ему публично заслуженные почести. Но ведь народ каков? — облек властью своего избранника, и давай украшать его, как идола, всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями. Вот и я, благодаря той короткой и малозначительной вылазке, в глазах граждан Ронкадора сделался живым воплощением их национальной доблисти.

Мои же труды на благо общества предметом эпоса не стали, хотя растянулись они на многие

годы, и я вложил в них гораздо больше и сил, и времени, и мыслей. Что ж, они представляли собой тираническую и абсолютистскую сторону моего диктаторства: да, их ценили, относились к ним с уважением, но народного ликования они не вызывали. Успех гражданского обустройства зависел исключительно от моей интеллектуальной энергии: это она не давала мне успокаиваться, заставляя браться за все новые и новые проекты. Только-только завершилась архитектурная перестройка столицы, – публичных зданий и улиц, только-только закончились реформа и переоснащение армии, а я уже вовсю занимался ландшафтным проектированием, разбивкой общественных садов и парков, поиском рисунка для денежных купюр национальной валюты и герба для флага республики: этим последним стал черный, восстающий из пепла феникс на желтом фоне, с красным шаром вместо солнца над головой. Но скоро и эти малые дела подошли к концу, и я поневоле все чаще и чаще оставался наедине со своими думами, пытался философски осмыслить достигнутое, оценить настоящее и представить будущее.

Я рассудил, что выбранный мной путь в итоге далеко отошел от ключевых принципов, сформулированных писателями-революционерами и служивших мне поначалу источником вдохновения. Разумеется, я мог сколько угодно тешить самолю-

бие тем, что в своей деятельности я в основном не отступал от фундаментальных идей, формирующих основу человеческого общества, – известного учения о равенстве, братстве и справедливости. Но, согласитесь, идеи эти неопределенны и допускают весьма различные толкования. Волонтаристски изолировав Ронкадор от других свободных республик Америки, я обеспечил эксперименту успех, но при этом я продемонстрировал наше полное безразличие к судьбам остального мира, а наш хваленый дух братства, к примеру, не распространялся дальше наших собственных границ. Кстати, это рассорило нас с Патриотическим обществом в Буэнос-Айресе, о чем я глубоко сожалел. Тем не менее, я никогда б не променял, так сказать, синицу в руках на журавля в небе – реальную осязаемую свободу нашей республики на сомнительные плоды великого союза с теми, чье положение не было прочным. Я опасался, что, связав себя международными обязательствами, мы потеряем свободу маневра.

Как диктатора, меня отличало полное равнодушие к тому, что Наполеон Бонапарт, в котором я видел образец для подражания, называл идеологическими проектами. Другими словами, я никогда не горел желанием воплотить в государственном масштабе мечту о будущем. Если нам и удалось создать утопию, то утопию земную, реальную, из доступных, подручных средств. Я не

замахивался ни на что, выходящее за пределы чаяний простых крестьян, а их у нас было большинство. Я всегда исходил из предположения, что у государства нет более достойной или желанной заботы, чем возделывание земли, а поскольку эта деятельность обычно забирает всего человека без остатка, подчиняя себе всю его волю и способности, то я полагал, что любое образование сверх минимально необходимого будет отвлекать граждан от их прямых обязанностей и, таким образом, будет предательством по отношению к государству. Мы даже грамотности населения не придавали большого значения: в конце концов, если прихожанам требовалось что-то написать или прочесть, им всегда могли помочь священники, которые получали отличную подготовку в ронкадорской семинарии.

Я жил настоящим, день за днем устраняя любое препятствие, возникавшее на пути, осуществляя не на бумаге, а на практике принципы равенства и братства, делая справедливость нормой жизни. Кто ж станет против этого бунтовать? Любое сопротивление будет воспринято как протест одиночки, самодеятельность, которые не в состоянии помешать общему движению к благополучию.

Кажется невероятным, что при таком стабильном и счастливом развитии нашего государства я мог в чем-то сомневаться. Поначалу я и сам не по-

нимал, откуда берутся эти сомнения – просто пребывал в состоянии беспричинного уныния, пытаясь успокоить себя тем, что это физическое недомогание или воздействие климата. Но вскоре мне стало ясно, что дело во мне самом: меня заела тоска, и надо разбираться в причинах. Тем более, что я никак не мог развеяться – ни охота, ни чтение не приносили желанного покоя и удовлетворения.

Так я промаялся несколько лет и, наконец, понял, что от себя не убежишь. Мое внутреннее беспокойство было результатом той самой стагнации, которую я рассматривал как победный итог своей политики. Я сам создал бесконфликтную обстановку всеобщего примирения и сглаживания острых углов, обернувшуюся нравственной дряблостью, сытостью, равнодушием и общественным параличом, и вот теперь я за это расплачивался. Я знал симптомы этой душевной болезни по истории средневековых монастырей: когда монахи решили удалиться от мирской суеты и жить созерцанием, их настигла та же участь. Верно, моя жизнь не ограничивалась только созерцанием, но, совершенно определенно, я все больше удалялся в область абстрактных размышлений. Пока у нас не было республиканского правления, я не знал ни сна, ни отдыха. Идеи моментально воплощались в жизнь, в дела. А как только исчезла потребность в действии, отпала

необходимость сопротивляться обстоятельствам, преодолевать препятствия – мой мозг сразу же впал в спячку.

Помню, именно в то время у меня родилось подозрение, что даже если Золотой век и был, – а судя по культурным традициям, сохранившимся во многих частях света, он действительно был, – то изжил он себя в силу причин, которые я познал тогда на собственном опыте. Прогресс невозможен, если нет отклонений от нормы, – без этого нет движения вперед, есть только хождение по кругу.

Как я ни старался, я не мог найти подходящих общественных способов решения моей личной проблемы. Да, я мог бы заняться созданием системы образования, и постепенно мы бы получили общество интеллектуалов. Для меня это был бы способ покончить со скукой, но я не мог не понимать, что в этом случае я бы подорвал мирные устои государства, так как в нем появился бы класс людей, занятых умственной деятельностью, только и поджидающих случая претворить свои идеологические проекты в жизнь. На моих глазах сотни индейских семейств мирно трудились на своих *estancias*, жители столичного Ронкадора гуляли в садах, наслаждались прохладой в тени у фонтанов: везде я видел веселые и довольные жизнью лица. Нет, не бывать этому. Пусть лучше я погибну, чем разрушу их безоблачный мир.

Тогдашняя моя душевная маята сопровождалась еще одной переменной настроения, которая в конечном итоге повлияла на мое решение. Мысленно я все чаще и чаще обращался к периоду отрочества и юности. Опять же, случилось это скорей всего из-за вынужденного безделья, а может, все мы с возрастом испытываем ностальгию по прошлому, особенно если находимся в изгнании, на чужбине. Но шли годы, а воспоминания не только не тускнели, – наоборот, они вставали передо мной, как живые, поднимаясь из глубин памяти и оттесняя все остальное. Меня охватила острая тоска по родине. Я снова и снова переживал события детства, годы, проведенные в школе и колледже, унижение, через которое прошел, учительствуя. Но самым острым и неотвязным было даже не это воспоминание, а мысль об упущенной возможности – встрече с зелеными найденышами, неизвестно какими судьбами занесенными в нашу деревню. Разгадана ли их тайна, что с ними случилось? Мне рисовался идеальный образ существ, которые сумели выжить в чужом для них мире: полулюди, полуангелы, – словом, посредники между земным прахом и небесной чистотой.

Я решил исчезнуть. Но просто уехать я не мог: не мог я покинуть страну, в которую вложил всего себя, самые заветные свои мысли. Но, в конце концов, Бог с ними, с сантиментами, – главное,

что любой подобный шаг с моей стороны вызвал бы в стране потрясение основ, подорвал бы моральный дух нации. По идее мне следовало бы назначить преемника и снова запустить старую машину выборов через созыв народного собрания. Но при тогдашнем моем состоянии осуществить это не представлялось возможным. Оставалось одно – внезапно исчезнуть, но исчезнуть так, чтоб это не показалось бегством. Мой неожиданный отъезд должен возыметь противоположное действие – стать моральным и политическим стимулом для народа. Я должен исчезнуть, окутанный славой.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что единственный способ, которым можно было убить двух зайцев, – это покушение, а поскольку я не собирался умирать, – наоборот, хотел выжить и уехать в Англию, – значит, это должно было быть мнимое покушение.

Решение я принял, теперь следовало действовать. Ясно, что мотивом покушения должно стать нечто такое, что еще сильнее сплотит народ. А раз так, то повод следует искать не во внутренних проблемах страны – чьей-то неудовлетворенности или каком-то саботаже, – а вовне. Покушение должно быть делом рук чужака; оно должно представлять собой попытку поднять руку на целостность и независимость самого государства Ронкадор.

Я тщательно, не спеша, со многими предосторожностями разрабатывал свой новый план. И вот, наконец, замаячила долгожданная возможность: на встречу со мной напросился один золотоискатель из Северной Америки. Он попросил разрешить ему провести геологическую разведку в горном районе на восточной границе Ронкадора. По рассказам старых индейцев, в тех местах сохранились остатки золотых приисков, хотя испанцы золота там так и не нашли.

При других обстоятельствах я и слушать не стал бы этого авантюриста, зная, что добыча золота моментально дестабилизирует государственную экономику, возбudit алчность соседей, и это может стать фатальным, как когда-то случилось с иезуитами, и вообще привнесет в наши ряды торгошеский дух, который подорвет атмосферу согласия и удовлетворенности скромным достатком. Предвидя все это, я тем не менее оставил возражения при себе и дал этому господину разрешение произвести предварительный осмотр местности, при условии, что он будет осторожен, все отчеты будет направлять прямо ко мне и без моего согласия не станет предпринимать никаких дальнейших действий.

Месяца через два золотоискатель вернулся. Осмотр местности подтвердил и превзошел самые благоприятные ожидания. Богатые залежи золота обнаружены не только в горах, но даже в горной

речке неподалеку: там полно драгоценного металла. Эта информация была мне на руку. Я сказал золотодобытчику, чтоб он подавал прошение на открытие концессии по добыче золота, а пока бумаги будут рассматриваться, посоветовал ему поселиться в Ронкадоре.

Я продержал его несколько недель без ответа. Человек он был неразборчивый в средствах, – по донесениям шпионов, сразу вступил в переписку со своими хозяевами в Буэнос-Айресе и начал готовить заговор. Обычно в таких случаях подкупают деньгами и посулами правительство соседнего государства, находится повод для конфликта, а потом следует вторжение сил противника в таком количестве, какого стоит обещанное золото.

Пора было открыться Итурбиду. Естественно, я не стал раскрывать ему все карты, – да он, по простоте душевной, и не понял бы моей конечной цели. Но подробности отчета золотоискателя и готовившегося заговора я ему сообщил. Сказал, что проявил неосторожность, разрешив авантюристу въехать в страну, и попросил Итурбида помочь мне раскрыть его махинации.

Я пояснил, что выслать его сейчас из страны мы не можем, – такое решение попросту ускорит его планы. Если взять его под стражу или, прибегнув к крайней мере, казнить по весьма туманному подозрению в шпионаже, это повлечет за собой разрыв дипломатических отношений с сильной дер-

жавой. Нам остается только следить и ждать, когда у нас появится достаточно веских доказательств, чтоб убедить мир в том, что мы действовали в соответствии с нормами международного права и в целях самообороны. Итурбид пообещал усилить контроль за передвижениями на границе и находиться в состоянии боевой готовности.

Затем я привел в порядок личные дела. Я составил политическое завещание, где доступно и коротко изложил существо тех принципов, которыми я более двадцати лет руководствовался как глава Республики Ронкадор. Я подчеркнул, что делаю это в целях предосторожности: так поступает каждый мудрый отец, заботящийся о будущем своих детей. Еще я рекомендовал в качестве своего преемника Итурбида. Этот документ я передал хранителю архива с указанием, что его следует вскрыть только в случае моей смерти.

Затем я занялся изготовлением взрывчатки большой мощности, благо у меня был охотничий домик, где я мог запереться от посторонних глаз. Я заранее запасся достаточным количеством пороха якобы для охоты, а книжные руководства по военному делу, которые имелись в моей личной библиотеке, содержали всю необходимую информацию по подготовке взрывов мостов, железных дорог и военных укреплений.

По-моему, я уже упоминал трехарочный мост через реку к западу от Ронкадора. Он стоял как раз

на дороге, что вела на ферму генерала Сантоса, где у меня был этот самый охотничий домик, — именно на мосту я и решил инсценировать покушение. Когда-то давно, в пору архитектурной лихорадки, охватившей меня во время застройки столицы, я досконально изучил инженерный план этого моста и принял решение оставить его, поскольку строили его иезуиты, и строили добротно, и он мог прослужить еще очень долго. Он стоял на двух быках, и все три пролета соединяла общая стрела, перекинутая с одного скалистого берега на другой. Точки наибольшего давления, таким образом, приходились на венец и пятовые камни, поэтому заряд, чтоб он сработал, как надо, следовало поместить под аркой, а не под опорами. Я решил, что венец моста — самое подходящее место.

Дорожным покрытием моста служили гранитные плиты шириной около девяти дюймов, а форма его была слегка выпуклой. За несколько столетий на мосту образовались рытвины, плиты кое-где расшатались. Как-то утром, возвращаясь из моего сельского уединения, я послал слугу с лошадьми вперед, а сам задержался на мосту, проверяя, насколько легко будет приподнять одну из плит ближе к венцу. По моим расчетам выходило, что если под нее положить заряд, а полые места забить мягким материалом, чтоб все хорошенько закрепилось, тогда устройство сработает. Вся операция займет минут пять-десять, не более.

Я запасся всем необходимым, включая трехметровый бикфордов шнур, и стал ждать, когда подвернется случай. Мне нужны были два условия: разлившаяся река и лунная ночь. Еще в мои планы входило каноэ, но его я рассчитывал найти на берегу, сразу за мостом, у самодельной индейской пристани.

Наконец, к середине июля все сложилось удачно, и я решил действовать. Объявив о том, что уезжаю на неделю за город, я попросил Итурбида вести дела в мое отсутствие. И, в сопровождении одного слуги, отбыл на ферму Сантоса.

Прошел день, второй, и ночью, около двух часов, я разбудил слугу и показал ему письмо, которое сам же заранее заготовил. Сказал, что меня срочно вызывают в Ронкадор, и я выезжаю немедленно. Пока он седлал коня, я взял поклажу, проверил, все ли на месте, и вышел во двор. Слуге я наказал дожидаться рассвета, а потом ехать в город со всем остальным багажом. Отдав последние распоряжения, я тронулся в путь по освещенной лунным светом тропе.

Примерно в ста метрах от моста я спешился, и, оставив лошадь не привязанной, один пошел на мост. В небе высоко стояла луна, впереди на горизонте виднелся силуэт притихшего ночного Ронкадора, где на темном фоне отдельными белыми мазками выделялось несколько зданий. Я перегнулся через парапет — внизу, на берегу, ниже мос-

та, лежали три длинных черных каноэ. Течение было быстрое, судя по ряби на лунной маслянистой дорожке.

Прихваченной из дома стамеской я без труда приподнял одну из гранитных плит. Под ней был битый камень: я его выбросил и быстро расчистил лунку. Заложил в нее пороховой заряд с заранее прикрепленным бикфордовым шнуром. Забил полые места припасенной бумагой, сверху снова набросал осколки камней, а потом все придавил гранитной плитой, постаравшись как можно плотнее вогнать ее на прежнее место.

Работа шла споро, и через десять минут все было готово. Тут я заметил у моста моего верного коня и поспешил вывести его из опасной зоны. Отведя его назад по дороге метров на сто, я попрощался со своим другом: дороже его у меня никого не было. Он не понимал, что происходит, но не уходил с того места, где я приказал ему стоять. Дело в том, что именно присутствие на месте взрыва коня без всадника должно было стать важным свидетельством в пользу покушения.

Вернувшись на мост, я внимательно оглядел все напоследок. Страхуясь, спустился на берег и подтолкнул поближе к воде одно из лежавших там каноэ. Снова поднялся на мост и, укрывшись за насыпью, поджег шнур. Дождался, когда искра пробежала дюйма два и, убедившись, что все в порядке, скатился по насыпи на берег. Столкнул

каное в воду, вскочил туда на ходу, и лодку подхватило течение.

Мне показалось, прошла вечность, прежде чем ухнул взрыв. К тому времени я был уже далеко от моста, но по легкому облачку дыма, которым заволокло светлое пятно луны, и по закачавшемуся борту лодки я догадался, что устройство сработало.

Часть третья

Едва над их головами сомкнулись воды, как все вокруг пришло в движение, тела их словно чем-то обволокло, что-то точно заструилось у ног, зажурчало, постепенно образуя свод, пока не приняло совершенную округлую форму. Теперь они находились внутри огромной капли: вода обтекала ее, не просачиваясь сквозь стенки, а мириады песчинок ее бомбардировали, не попадая внутрь. Поначалу казалось, они опускаются куда-то вниз, но потом это ощущение прошло, и, если бы не струившаяся вдоль стенок их капли вода, они бы не догадались, что куда-то двигаются.

Оливеро все еще держал Веточку за руку, но они не смотрели друг на друга: словно забылись. Времени и боли больше не было, – обоих клонило в сон.

Вдруг вода сверху расступилась, и они вынырнули посередине бассейна, даже не заметив, как и

когда успели перевернуться. Они очутились в огромном гроте, наполненном хрустальными бликами, отражавшимися от воды, – своды вдали голубели, а ближе к выходу светились нежно зеленым. Базальтовая порода, образовавшая дно грота, поднималась вверх мшистыми уступами и ступенями. Стены были неровные, а с потолка свисали длинные прозрачные сосульки: в некоторых местах они спускались до самого пола, образуя круглые колонны, разделявшие пространство грота.

Стоило им очутиться на поверхности, как они моментально приплы в себя и, не мешкая, поплыли к берегу: выбраться на сушу оказалось не сложно. Воздух был очень теплый, как летом в парнике, поэтому одежда, вымокшая, когда они плыли к берегу, не причиняла им неудобств. Но то ли от непривычной плотности воздуха, то ли от пережитого волнения, Оливеро стало дурно, и он опустился на землю. Все время, пока он глубоко дышал, привыкая к атмосфере, Веточка сидела рядом. Видя, что он оправился, она сообщила ему, что это ее родина и что тридцать лет назад где-то здесь они с братом заблудились.

Они отдыхали примерно час, а потом встали и пошли на свет, пробивавшийся откуда-то в дальнем конце грота. Они шли по коридору, который все сужался и сужался, а когда приблизились к выходу, перед ними оказалось отверстие высотой не

больше четырех футов. Согнувшись в три погибели, они чуть не ползком пробрались через ход, но попали не на открытое пространство, а в другой грот, гораздо больше первого, над которым тоже нависал свод – по высоте и размаху с ним не мог бы сравниться ни один готический собор. Свет здесь был сумеречный – как бывает в Англии летними вечерами, – отчетливо зеленоватого оттенка. Только сейчас Оливеро понял природу этого фосфоресцирующего света: его излучали стены громадной пещеры. Сама скальная порода была кристаллической.

Другое поразившее его явление – это перезвон колокольчиков, который, казалось, доносился отовсюду – и ниоткуда. Он вопросительно посмотрел на Веточку, а она показала ему на небольшой выступ в стене, с которого свисали, подвешенные на веревочках, легкие пластины разной длины, от восемнадцати дюймов до трех футов. От дуновения легкого ветерка, гулявшего по пещере, эти пластины задевали друг о друга, и раздавался перезвон, – его-то Оливеро и принял за звук колокольчиков. Позднее он обнаружил, что эти пластины имеют бесконечное множество размеров: от тончайших игл кристаллической породы в форме призм длиной в два-три дюйма, звеневших нежно, как детская музыкальная шкатулка, до внушительных каменных плит длиной в двадцать футов, гудевших гулко и торжественно,

как набат. Тяжелые пластины были на самом деле сталагмитами, – их долго выращивали, добиваясь равномерной плотности и, соответственно, чистоты звука. Для этого были даже отведены особые пещеры – своеобразные мастерские и даже целые фабрики.

Веточка объяснила Оливеро, что эти бубенчики, или гонги, развешаны по всему их подземному царству, как сигналы для путников, – чтоб Здешние жители могли свободно передвигаться, не боясь заплутать. Оказывается, каждое направление имело особый тон или оттенок звука, и таким образом, жители страны, не знавшей ни солнца, ни звезд, должны были ориентироваться только на слух. Все ноты или мелодии сходились в центре подземного мира, но стоило кому-то сбиться с тона, забрести в необитаемую пещеру или грот, выйти за пределы известного музыкального лада, как он мгновенно терял направление, и обратного пути уже не было. Именно это случилось с Веточкой: она забрела в незнакомую пещеру – и провалилась в другой мир.

Вслушиваясь в перезвон, они пошли по звуку, переходя из одной пещеры в другую: просторные, с высоченными сводами, сменялись длинными и узкими, как тоннели, а за ними шли шестиугольные, наподобие пчелиных сот. И всюду тот же сумеречный зеленоватый свет. Пещеры большей частью оказались сухими – точнее, чаще попада-

лись сухие. Изредка они попадали в гроты, где со сводов капала вода или вода стекала со стен, образуя на полу небольшие бассейны. То и дело попадались чистые ручьи, бежавшие по узеньким желобам, явно рукотворным. Вода была чуть прохладнее, чем воздух, довольно приятная на вкус, с легким привкусом серы.

Единственным подобием растительности были различные виды грибов, или чего-то похожего на них, на стенах пещер. В гротах побольше они напоминали колонии кораллов и достигали высоты в три фута. По консистенции они походили на белую часть цветной капусты, только более плотную. Во влажных гротах попадались образования, по форме напоминавшие пластинчатый гриб – частично или полностью окаменевший. А в пещерах посуше произрастали совсем другие «овощи»: они свисали с потолка наподобие спутанных и увядших корневищ. Впрочем, то были не корни, а полые ровные стебли, толщиной с обыкновенный карандаш, с зернышками внутри. Стоило им с Веточкой первый раз набрести на этот подземный фрукт, как она оторвала часть «бороды», разломила гладкий и скользкий стручок, вытряхнула на ладонь зерна и предложила Оливеро попробовать. Плоды были сладкие и приятные на вкус – такой у них в стране хлеб, пояснила Веточка.

Первой повстречавшейся им живностью оказалась птица, – размером не больше ласточки, но

издали она внешне больше походила на сову: серого цвета, вокруг глаз – густая опушка, что-то вроде брыжей из жестких перьев, в несколько рядов. Только, в отличие от совы, клюв у нее был прямой, а по полету ее нельзя было сравнить ни с одной земной птицей. Задрав клюв, она поднималась с места вертикально вверх, по отвесной линии, как падает камень, и, взмыв почти до потолка, – примерно на две трети высоты грота, – начинала вертеться вокруг своей оси. Опускалась она, делая несколько кругов и неизменно приземляясь на уступ на высоте шести футов от земли. Еще маленькая подробность: она ни капли не боялась ни Веточки, ни Оливеро, и позволяла трогать себя и даже ласкать. Судя по повадкам, птица редкая и предпочитающая одиночество, если не считать брачного периода.

Так они миновали восемь пещер, и вдруг Веточка остановилась и положила руку на плечо Оливеро: они подошли к небольшому гроту, вход в который был не шире дверного проема. Прислушавшись, они отчетливо разобрали доносившуюся из глубины музыку. Знаком поманив Оливеро, Веточка встала на пороге, а потом медленно опустилась на колени. Оливеро сделал то же самое, но не удержался и поднял голову. Он увидел перед собой неглубокую нишу, примерно двадцать на тридцать футов. Приглядевшись, он заметил, что грот имеет ровную коническую

форму, а сходящиеся кверху стены высечены в породе горного хрусталя, и оттого мерцают и искрятся. Переведя взгляд, он увидел у противоположной стены фигуру, – в глаза ему бросились конусообразная голова, излучающее нефритовый свет тело, как у Веточки, и борода цвета бледно-зеленых водорослей. Он, – а Оливеро был склонен полагать, что существо, которое он видит перед собой – мужчина, – был одет в прозрачную хламиду и сидел на низкой каменной приступочке. Перед ним на широкой каменной плите располагалось несколько предметов: большей частью отшлифованные кристаллы различной формы, некоторые дымчатые, как вулканическое стекло, другие бесцветные, как кварц. Но обитатель грота был поглощен другим, – миниатюрным гонгом, похожим на тот, что мы уже видели: это была рамочка с девятью подвешенными кристаллообразными пластинами. Кажется, тронь одну, и она издаст особый, только ей присущий тон, – сидящий перед ними «звонарь» наигрывал вариации на своем хрустальном органчике. Ведь каждый раз, подбирая ноты, он создавал новую комбинацию, и так до тех пор, пока не исчерпает все возможные сочетания звуков. На «звоннице» из девяти нот можно сыграть 362 880 таких вариантов, – только тогда музыкант вправе считать этот звон законченным.

Это мудрейшие подземного мира, пояснила Веточка: их удел – уединение и отрешенные занятия, вроде подбора нот и созерцания отшлифованных камней.

Они стояли, слушали; затем, стараясь не мешать «звонарю», поднялись с колен и отправились дальше. По пути им попадались еще гроты, откуда доносилась музыка невидимых звонов, но они больше не задерживались, а шли вперед по звукам, как по звездам. Так они бродили около шести земных часов, и, наконец, вышли на широкую открытую площадку, по которой тянулась вереница с каким-то грузом на плечах. Они появлялись из гротов по правую руку, пересекали «площадь» и, не доходя до Оливеро и Веточки, уходили вбок, через проем.

Рука об руку Оливеро с Веточкой обошли стены огромной площади, ориентируясь на звон и минув гроты справа. В один они все же заглянули, не удержавшись от любопытства. Эта пещера напоминала лесную чащу, – так густо поросла она сталактитами и сталагмитами, а посередине была расчищена тропа, по обеим сторонам которой стояли каменные рукотворные колодцы, – как показалась Оливеро, то ли из алебаstra, то ли из стеатита: они явно предназначались для сбора стекавшей по камням влаги. Кое-где на стенах виднелись специальные желобки для увеличения скорости стока.

На выходе из грота Оливеро с Веточкой столкнулись нос к носу с группой из пяти человек. Внешне они напоминали «звонаря» из грота: та же просвечивающая хламида, то же нефритовое тело, та же белесая клочковатая борода. От изумления перед встречей с «пришельцами» все пятеро остановились, как вкопанные, потеряв дар речи.

Веточка первая сделала шаг навстречу. Было трогательно видеть, как она, забывшая родной язык, бросилась к крайнему, обнажила свою руку и стала знаками показывать, что у них обоих кожа одного цвета. Она взволнованно жестикулировала, стараясь донести до сородичей свое желание присоединиться к ним. А те не сводили глаз с Оливеро. От неловкости он поежился, понимая, что надо сделать дружественный шаг, доказать чистоту своих намерений. Но стоило ему двинуться в их сторону, как они попятились с таким ужасом, точно столкнулись с привидением. Да и кем он был для них, как не признаком или даже чем-то пострашнее? Ведь жители той страны не верили в бесплотных духов и ведать не ведали о существовании других существ. И тут появляется Оливеро – абсолютно новый, небывалый тип! Можно представить меру их изумления, если только вообразить мир, в котором нет видов, а есть один общий род человеческий.

Естественно, они бросились прочь. Оливеро с Веточкой – больше для виду – кинулись было до-

гонять их – какое там! Те юркнули в коридор, который, как оказалось, служил переходом в громаднейший зал – такого им еще не доводилось видеть. Собственно, это был не зал, а бассейн, подземное озеро примерно три мили в длину и полмили в ширину, а потолок уходил так высоко вверх, что не привыкшему к каменной тверди землянину мерцающий в вышине купол вполне мог показаться небом. Одно настораживало: рассеянный свет был абсолютно ровный, без полутонов и переходов, какими богат свет в поднебесной. Здешний свет был немеркнувшей стихией – эдакие вечные летние сумерки, навсегда застывшие на том самом мгновении, когда стихает вдруг птичий гомон.

Открывшуюся картину трудно было сразу охватить взором. Зал представлял собой огромное блюдо овальной формы с пологими краями, тремя террасами спускавшимися к арене. Там и тут, по всей окружности этого подземного «стадиона» виднелись ступеньки, – располагались они без всякой очевидной последовательности и явно вели к выходам из зала: на верху одного из таких многочисленных проходов сейчас и стояли Оливеро с Веточкой. Над их головами, выше уровня верхней террасы, громоздились уступы, на которых лепились пещеры, много пещер, – но какого они происхождения, естественного или искусственного, сказать было трудно. Арена, лежавшая

далеко внизу, с высоты казалась ровной и плоской, как блин. На секунду Оливеро подумал, что очутился внутри громадного улья или под скалой, облепленной сотнями ласточкиных гнезд.

На их глазах пятеро беглецов, которых они и не собирались преследовать, сбежали по ступенькам и напрямик бросились к стоявшей в центре арены группе людей. Она, между прочим, была не единственной в зале, — на террасах виднелись группки поменьше.

Веточка, не мешкая, стала спускаться вниз по ступенькам, и Оливеро поневоле последовал за ней. Ступени были непривычно широкие и длинные, так что спускались они целых пять минут. Поверхность арены из серого камня покрывала замысловатая паутина канальцев, предназначенных для отвода лишней влаги: радиальные желобки сходились в центре арены. Вокруг никаких признаков растительности, если не считать птиц, которых они уже видели, — тех, что поднимаются штопором вверх.

Пройдя с полмили, они оказались в пределах досягаемости группы, которую видели сверху. Те пятеро давно слились с общей массой, и теперь перед Оливеро и Веточкой стояло плотное ровное кольцо людей, настороженных появлением незваных пришельцев.

Не доходя метров пятьдесят, Оливеро с Веточкой остановились. Постояли в нерешительности,

ожидая, что кто-то в толпе подаст знак или хотя бы шевельнется. Не тут-то было! Обитатели подземного мира упрямо уставились на них, как стадо овец, наблюдая во все глаза за чужаком, и ни в какую не желали сделать шаг навстречу. Оливеро предпочел бы выждать, но Веточка тянула его за собой, уверяя, что ее сородичи и мухи не обижают. И вот, взявшись за руки, они робко пошли вперед.

Теперь в толпе собравшихся они ясно различили молодых мужчин и женщин, – собственно, там и была одна молодежь. Впрочем, разница между полами не сразу бросалась в глаза из-за того, что все – юноши и девушки – были одеты в одинаковые, прозрачные хитоны, и у некоторых юношей борода еще только-только пробивалась. У всех были светлые распущенные волосы, и все были босые. Стройности необычайной, с головами конусообразной формы, безбровые, с блестящими, как у хорька, глазами-бусинами.

Крайние расступились, пропуская Оливеро с Веточкой вперед, и тут же повернули головы, провожая их взглядом. Всего в толпе было около сотни зрителей, и все они, уступив чужакам дорогу, поворачивались и глядели вслед. Вот тут-то Оливеро и заметил, что все они тоже стоят парами, держась за руки.

По арене прогуливались еще группы, но Веточка по наитию – или по зову памяти – уверенно шла на самую середину арены. Вначале толпа

молча следила за ней, а потом, словно опомнившись, люди начали о чем-то горячо перешептываться.

Так они с Веточкой подошли к центральной части арены, где находилось подземное озеро с горячим источником. По виду это был искусственный семидесятиметровый бассейн, окруженный со всех сторон каменным бортиком, высеченным в скальной породе. В верхней, мелкой части бассейна была устроена купальня полукруглой формы, шириной в три метра: в этой естественной «купели» плескались обнаженные молодые люди, не старше тех, кого Оливеро с Веточкой недавно видели в толпе.

Заметив, что кое-кто из увязавшихся за ними зевак собирается купаться, Веточка мигом сбросила с себя земное платье и ступила в воду. Она ничем не отличалась от других сестер, разве что возрастом и боле тусклым оттенком зеленой кожи. А вот Оливеро почувствовал себя настоящим пугалом – в черном плаще, голифе, башмаках и прочих атрибутах. Он ощущал на себе косые взгляды окружающих и, преодолевая усилием воли чувство стыда и замешательство, заставил себя скинуть плащ, затем другую одежду и погрузил свое белое тело в воды минерального источника.

В ту же секунду он почувствовал, как в кожу впилась тысячи иголок, – так бывает от концентрированного раствора соли, – но постепенно

легкое покалывание прошло, и по всему телу разлилось ровное благотворное тепло. Рядом полулежала, слегка опершись о край купальни, Веточка; Оливеро видел, как голова ее свесилась на плечо, – его подруга задремала.

– Смотри, не засни, – сказал он ей, – а то соскользнешь в воду, и сама не заметишь, как утонешь.

Он не спускал с нее глаз до тех пор, пока у него самого не стали слипаться веки. Тогда он заставил себя перебраться поближе к каменному бортику и притянул к себе Веточку. Он кожей ощущал теплую, гладкую, как нефрит, поверхность скалы. Они прилегли там, и их сморил глубокий сон.

В той стране время не измеряли и не фиксировали его ход, так что об ощущениях можно было судить только по их силе. Сморивший их сон, сбив накал эмоций, стер и всякое представление о времени. Сколько они спали? – пять минут? Пять дней? А может, пять лет? Они проснулись среди тех же молодых людей, но поскольку ощущение времени исчезло, невозможно было сказать, как долго они проспали. Проснувшись, они не нашли своей старой одежды, – она исчезла, а вместо нее рядом лежали прозрачные хитоны, наподобие тех, что носили все подземные жители.

Во сне Веточка вспомнила родную речь: так бывает в определенных состояниях, когда, под влия-

нием каких-то скрытых пружин, открываются вдруг шлюзы памяти. Страхнув остатки сна, Веточка воскликнула: «Я – Витэн, я – Витэн». Так ее звали до того, как она потерялась, и – кто знает? – может, добрая миссис Харди назвала ее земным именем Веточка, слыша, как найденныш часто повторяет похожее слово?

С родной речью вернулось и кое-что еще, – она вспомнила себя ребенком десяти-одиннадцати лет. В ее бытность страной правили мудрецы, обитавшие в пещерах и решавшие все вопросы посредством обсуждения. Ей захотелось узнать, где сейчас находится пещера правителей-мудрецов, и она обратилась с вопросом к тем, кто стоял поближе.

– Видите ли, – объяснила она, – много лет назад я заблудилась – забрела в гроты, где не было музыки, и сбилась с дороги. И вот сейчас нашлась! Это мой спутник: он родом не отсюда, но тоже заблудился и хочет остаться.

Ее слушали серьезно, искренне и заинтересованно, а затем кто-то указал на грот на третьей террасе, к которому вела широкая лестница. Набросив хитоны, Оливеро с Веточкой направилась туда. По внешнему убранству грот ничем не отличался от увиденных в пути, разве что был более просторным. Отличие состояло в другом. Вдоль стены на равном удалении друг от друга стояли пять каменных скамей; на них восседали пять бо-

родачей. Перед ними – пустой пятачок: в него-то и вступили Оливеро с Веточкой, войдя в грот.

Их появление не вызвало никакого волнения среди мудрейших, но и не осталось незамеченным. Первым заговорил сидевший в центре, напротив входа: ровным спокойным голосом он спросил, что привело их к Судьям.

В ответ Витэн поведала свою необычайную историю. Пару раз она прерывала рассказ, словно желая убедиться, что безмолвные, неподвижно сидящие Судьи действительно ее слушают, и каждый раз Судья в центре изрекал одно слово: должно быть, оно означало «Продолжай».

Когда рассказ был окончен, Веточке велено было подождать вместе с Оливеро за пределами пещеры и зайти, когда прозвонит колокольчик. Так они и поступили: вышли на террасу, присели на камень и стали разглядывать арену. Внизу бурлило то же беспорядочное движение. На террасах располагались группы поменьше, причем чем ниже, тем людей было больше: на нижней террасе группы насчитывали человек по пятьдесят, а на верхней – всего пять. По ступеням же вверх и вниз двигались группы по два-три человека, – они то и дело ныряли в дальние пещеры.

Пока они с Веточкой сидели возле пещеры Судей, ожидая, когда их вызовут, они заметили, как в их сторону по верхней террасе движется группа из пяти человек. Все в обычных длинных одеяни-

ях; у всех непокрытые яйцеобразные головы с венчиком волос над ушами; у каждого мягкая белесая борода. Тот, что шел посередине и говорил, держал голову прямо, а его спутники сосредоточенно смотрели себе под ноги, размышляя о сути сказанного. Когда оратор закончил свою речь, он тоже принял сосредоточенное выражение, опустил голову, а следующий из собеседников, наоборот, встряхнул головой и выпрямил спину, собираясь взять слово. Они шли отрешенно, никого не замечая, и, казалось, не обратили никакого внимания на Оливеро и Витэн.

Наконец, из пещеры донесся звук, наподобие тех, что издает ксилофон, когда по нему медленно ударят молоточком: Оливеро и Витэн вновь приглашали предстать перед Судьями. Вердикт огласил мудрец, сидевший в центре. Итак, сначала они спустятся на нижнюю галерею и останутся там до тех пор, пока не насытятся плодами юности. После присоединятся к тем, кто переходит на среднюю террасу, чтоб познать прелесть ручного труда, после чего Оливеро, которому возраст давал такое право, перейдет на верхний этаж, где в беседах оттачивают искусства спора и обмена мнениями. Там он пробудет долго, дабы приобщиться к высочайшей радости, – созерцанию в одиночестве, а после укроется в дальнем гроте.

Эти указания были даны бесстрастным голосом, без единого жеста. Когда стало ясно, что Судье не-

чего добавить к сказанному, притихшие Оливеро и Витэн медленно вышли из пещеры и спустились по ступенькам на нижнюю террасу. Они присоединились к первой повстречавшейся им группе и влились в ее ряды, не вызвав ни у кого удивления или вопросов.

Здесь большей частью ходили парами – мужчины с женщинами. Гуляли, обнявшись, держась за руки, не выказывая при этом особой взаимной привязанности.

Часто случалось так, что группа по какой-то причине распадалась на отдельные парочки, а когда опять сходилась, то партнеры оказывались новыми. И это всех устраивало. Не только пары, но и сами группы не отличались постоянством: бывало, что, спустившись к бассейну, купавшись и наигравшись, группы перемешивались, и в них оказывались совсем другие люди. Лидеров в группах не было, но по какому-то негласному обычаю численность каждой не превышала пятидесяти человек.

Они много времени проводили в воде и за играми, напоминавшими Оливеро земные кошки-мышки, жмурки или лапту, – словом, массовые развлечения. По террасе прогуливались; там же спали и занимались любовью со всей непринужденностью людей, привыкших отправлять на публике свои естественные потребности. Поскольку время никак не измеряли, пары жили по зову пло-

ти, – один акт (сон) предшествовал другому (со-вокуплению). Но с какой частотой или продолжительностью чередовались эти акты, сказать трудно. Время для этих людей не существовало, земная шкала была к ним неприменима.

Стоило девушке забеременеть, как ее удаляли в отдельный большой грот, где за ней ухаживали опытные служанки. Разрешившись от бремени, она возвращалась в группу и снова предавалась утехам плоти, и так продолжалось до тех пор, пока женщина не рожала в среднем три раза. Поскольку беременность не наступала с непреложностью часового механизма, и плод вынашивался медленно, то период этот в целом был продолжительным.

Веточка сразу переняла привычки и усвоила повадки сородичей, а вот Оливеро ждали суровые испытания. К играм молодежи он еще мог отнестись с покорным благодушием, но на плотские радости отказывался смотреть как на невинные забавы. Он сердился и мучился ревностью, следя за тем, как Витэн прогуливается под ручку с одним из юнцов, а уж наблюдать, как она занимается любовью с другими, было просто выше его сил: он прятал от всех перекошенное судорогой лицо. Но постепенно у него это прошло; земные терзания забылись и больше его не посещали.

Оливеро научился простому языку этого подземного народа. Это было не сложно, – в нем от-

существовали неправильные окончания и абстрактные понятия. Пожалуй, единственная трудность заключалась в его абсолютной непохожести на другие языки: ни индоевропейских корней, ни переключек с каким-либо известным языком в нем не наблюдалось, и, потом, существовал он только в устной форме. Говорившие на этом языке люди не видели необходимости в записи, и поэтому не имели алфавита, не писали писем, не читали книг.

Естественно, Оливеро гораздо быстрее, чем Витэн, пресытился радостями, дарованными нижней террасой, а, выучив местный язык и полностью излечившись от земных страстей, он сгорал от нетерпения перейти к следующей ступени и познать другие стороны жизни этого неведомого мира. Вскоре он попрощался с группой и перешел на среднюю галерею. К этому времени они с Витэн настолько слились с общим хором, что им и в голову не пришло устроить сцену расставания.

На средней галерее Оливеро пришлось дожидаться вакансии: дело в том, что место в артели (так назывались небольшие группы на этой ступени) можно было получить только в том случае, если кто-то из подмастерьев переходил на высшую ступень. Здесь, на втором уровне, царила строгая дисциплина, каждая артель занималась одним делом, — бралась за работу и выполняла ее по строго заведенному графику. Оливеро повез-

ло: для него сразу нашлось местечко в артели сборщиков пищи.

Для новичка лучше не придумать, поскольку у них была самая простая работа: собирать по пещерам и гротам земляные орехи и грибы, которыми питалось население; пополнять запасы еды на каждой террасе и доставлять мудрецам в пещерах их ежедневный рацион. Так Оливеро познакомился со всеми уголками огромной подземной сети пещер и гротов. До самых окраин он, конечно, не доходил, – артели было запрещено покидать пределы «музыкальных» гротов, чьи звоны служили им единственным ориентиром в сложной паутине переходов и лабиринтов. Для сбора грибов артельщики использовали корзины, сплетенные из высушенных корней земляных орехов; поэтому орехи собирали вместе с корневищами и стеблями и непременно целыми стручками. Все утилизировалось: стебли и корни шли на плетение корзин, а коконы с волокнистой мякотью использовали как сырье для изготовления прозрачных полотнищ, из которых шили тоги.

Поработав сборщиком плодов, Оливеро перешел в артель прядильщиков и ткачей. Здесь главным инструментом служило веретено, тонко выточенное из цельного хрусталя, – граненая отшлифованная игла, посередине которой крепился диск из дымчатого стекла или халцедона: он придавал вращению веретена скорость и ус-

тойчивость. Итак, вначале волокна толкли в каменной ступе пестиком, отделяя друг от друга, затем связывали воедино и прикрепляли к зубцу на кончике веретена. Вращали веретено, зажав в правой руке между большим и указательным пальцами. Волокна скручивались в тонкую нить, – получалась пряжа. Ткань изготавливали из этих нитей, сплетая их в единое полотно. Эта работа делалась вручную: на вертикальной каменной раме с зубцами устанавливалась основа примерно из ста нитей, и через нее пропускали уток с пряжей. Получалась материя вроде марли, только шелковистая.

Оливеро попробовал себя во всех видах ручного труда, правда, не все они оказались одинаково интересными. Едва ли стоит описывать, скажем, работы по осушению и канализации, или огранке камней. Но о двух занятиях более высокого порядка стоит сказать особо. Первое – это изготовление гонгов и кристаллов. К рассказу о гонгах, пожалуй, добавить больше нечего, – все уже сказано. Они делались самой разной величины и изготавливались из разнообразных материалов, начиная от тончайших кристаллов горного хрусталя до массивных колонн сталактитового происхождения. Последние, естественно, встречались гораздо реже, ибо образование сталактитов требуется много времени. Когда артель заканчивала обработку «колоколов» (можно ведь их и так

назвать), их передавали в другую артель, занимавшуюся подбором музыкального лада. Настройка шла либо в соответствии с нотами обычной гаммы, либо по звукам, вместе составлявшим определенную мелодию.

И все же высшей квалификацией здесь полагали огранку кристаллов. Породы использовали разные: опал, халцедон, плавиновый шпат, известняк, но более всего почитался горный хрусталь – за чистоту. В этом подземном мире из всех наук выше всего ценили ту, что мы называем кристаллографией: изучение форм, свойств и структуры кристаллов. Здешние мудрецы даже готовы были признать ее королевой наук, поскольку ее данные лежали не только в основе всех представлений о строении Вселенной, но и понятий красоты, правды, предназначения. Над этими вопросами размышляли и мудрейшие на верхней галерее, и отшельники, уединившиеся в дальних гротах.

Мы лучше пойдем логике их мысли, если учтем, что для них знание о строении кристаллов имело не только естественнонаучную, но и эстетическую природу, ибо на нем строилась их концепция прекрасного как некоей идеальной завершенности. Если коротко, их главной целью было создание кристаллов, которые, повторяя основные структурные свойства данной породы, содержали бы какое-то легкое, почти неуловимое отклонение от природной нормы. Эстетическое наслаж-

дение они понимали как способность воспринимать угол отклонения от природного образца, допущенный в искусственно созданной форме. Для них не существовало более тонкого проявления чувства прекрасного, чем то, которое вызывали кристаллы с наибольшим отклонением от нормы, но в пределах допустимого. Подземные мастера различали шесть систем кристаллообразования: кубическую, тетраэдрическую, восьмиугольную, однослойную, трехслойную и шестислойную, причем у каждой были свои адепты. В этих пристрастиях было что-то от земной приверженности определенному направлению в живописи: один – сторонник барочной фантазии в кубическом пространстве, другой – полная противоположность первому – любитель классической ясности и прямой перспективы.

Мастера-огранички начинали учиться ремеслу на естественных кристаллах. Притом, что под рукой у подмастерьев находились коллекции совершенных образцов, подобранных по разным параметрам, эксперты лишь тогда подтверждали квалификацию ученика, когда он самостоятельно подбирал полный набор собственных камней. Поверьте, это было вовсе не легко сделать, ведь некоторые породы кристаллов почти не встречались в природе, за ними нужно было ходить за тридевять земель в дальние пещеры и гроты, где не было никаких музыкальных указателей.

По завершении обучения подмастерью разрешили попробовать свои силы на огранке полудрагоценных камней. Чем больше он экспериментировал, тем отчетливее понимал трудность этого дела: тут нет общих правил, ты можешь полагаться только на собственную интуицию, ища градус отклонения от нормы, воплощенной в естественных формах. Но стоило мастеру интуитивно нащупать верный путь, как наступало ни с чем не сравнимое наслаждение: создавать совершенную форму иного свойства, чем совершенство природного кристалла.

Набив себе руку, овладев искусством огранки полудрагоценных камней, мастер был вправе перейти к обработке горного хрусталя. Хотя никто не вел строгого учета расходования этого драгоценного камня, существовало негласное мнение, что переводить такой материал на второсортное изделие – это кощунство. Право на ошибку должно быть сведено к нулю. Проверяли совершенство созданной формы так: если мастер оставался доволен своим детищем, он предлагал кристалл мудрецу-отшельнику. Если тот принимал камень в дар, как предмет созерцания, то созданную форму расценивали как совершенную. Наберется у мастера пять таких безупречных кристаллов, и он становится кандидатом на звание мудреца: поднимается на самую верхнюю ступеньку.

Впрочем, успеха добивались единицы: у одних не хватало интеллектуальных сил, чтоб постичь научные основы мироздания, а другие, может, и могли бы, да их подводило отсутствие чутья, и они совершали ошибку, нарушая законы природы ради абсолютной красоты.

Стоило такому неудачнику признать свое поражение, как его сразу переводили в артель по уходу за пещерами мертвых.

Надо сказать, что обитатели этого подземного мира совсем иначе понимали бессмертие, нежели жители поднебесной. Оттого ли, что над ними неизменно нависала каменная твердь, вместо необъятного неба; оттого ли, что они осознавали предельность своей вселенной, и конечность числа жителей, – трудно сказать, по какой именно причине, но у них было стойкое предубеждение против внутренних, жизненно важных органов человеческого тела: они представлялись им мерзкими и отвратительными. Вообще все мягкое и подверженное тлению вызывало у них ужас; наипервейшим симптомом первородного проклятия, избыть которое можно лишь после смерти, в их глазах было человеческое дыхание. Сама по себе смерть их не пугала; гниение и разложение – вот что было для них непереносимо: возвращение в мягкое и газообразное состояние, превращение в вещество, которое служило для них синонимом слабости и позора. Все их суще-

ствование было подчинено одной цели – твердости: обретению твердости и нетленности, сродни скальной породе, замыкавшей их со всех сторон. Поэтому в качестве похоронного обряда они практиковали окаменение. Отлетело ненавистное дыхание, – тело усопшего переносили в особую пещеру, опускали в каменную ванну с соляным раствором, стекавшим по капле с потолка и стен, и оставляли на определенный срок. Тело белело, отвердевало, стекленели под прозрачными веками глаза, волосы превращались в хрупкие змеевидные косички, а борода – в редкие сосульки. Этот подготовительный процесс был чем-то вроде чистилища: когда тело полностью отвердевало, его доставали из ванны и переносили, словно большую куклу, – в горизонтальном положении, – в усыпальницу: там, в особых подземных гротах дожидались своего часа сложенные штабелями алебастровые фигуры, – ждали, как манны небесной, завершающего этапа окаменения: кристаллизации. Лишь когда лишенное человеческих признаков тело становилось похожим на соляной столб, обретя геометрическую четкость и совершенную структуру кристалла, – лишь тогда, полагали обитатели подземного мира, оно обретало бессмертие.

Эти соляные столбы, окаменевшие зубья, медленно, но верно заполняли катакомбы. Столько там еще оставалось под землей живых, никто точ-

но не знал; но жители ясно понимали, что пространство их обитания ограничено и что настанет час, когда их вымирающий народ сократится до нескольких человек, которым хватит одной пещеры; когда останется, в конце концов, лишь один из них, — он, чувствуя приближающийся конец, погрузится в ванну с соляным раствором, исполняя главное предназначение: обрести вечное совершенство. Ведь здешний народ верил, что самое благое дело — это предать тело земле без остатка, слиться с землей, стать ее частью. Тогда, полагали они, воссоединясь с землей, тела их возрадуются. Заветнейшее желание: стать частью физической гармонии вселенной.

Разумеется, ухаживать за усыпальницами и следить за процессом окаменения тел было не просто: этим делом ежедневно и еженощно занималась особая артель. Впрочем, Оливеро эта чаша миновала, и лишь потому, что он настолько увлекся и поднаторел в искусстве огранки кристаллов, что довольно быстро перешел на следующий, высший, уровень, более подобающий его возрасту и опыту. Попрощавшись с товарищами по артели, он взшел по ступеням и расположился на самом верху.

Обитатели верхней галереи прогуливались впятером или по одному. Одиночек было сразу видно: они вышли из группы, приуговорясь к полному уединению в гротах отшельников. Чтобы

переход от общения к одиночеству не казался слишком резким, им разрешали гулять по террасе до тех пор, пока они не почувствуют раздражение при виде других людей, и тогда, в качестве компаньона, им предлагали взять себе ручную живность. Правда, выбор был невелик: если не считать птиц, единственными представителями фауны в этом подземном мире были змеи-веретеницы, да еще громадные жуки, размером с черепаху. Так уж повелось, что если мудрец-отшельник привязывался к жукам, то змей он недолюбливал, и наоборот: по своим повадкам, змеи и жуки для обитателей подземного мира были все равно что для нас кошки и собаки. Величина змеи достигала одного метра, окраска – серебристо-серая с голубой искрой.

Ручная змея – а диких пресмыкающихся там почти не встречалось – становилась частью хозяина: обвивалась вокруг его тела, принимая излюбленную позу: голова свешивается ему на грудь, тело обвито вокруг шеи, а хвост спускается на спину. Жуки, напротив, никогда не касались своих хозяев, зато бегали за ними по пятам. Их твердые надкрылья голубого цвета с металлическим отливом напоминали две морские раковины с продольными бороздками. У них было три пары подвижных лапок, едва заметные усики и небольшие челюсти, а у самок, не сильно отличавшихся от самцов, сзади на теле появлялось светя-

щееся пятнышко. Питались они экскрементами, и считались отличными санитарами и верными друзьями.

Оливеро уже было отчаялся найти неполную группу, как вдруг заметил приближающийся к нему кружок из четырех собеседников. Он поднялся им навстречу и попросил разрешения присоединиться. В знак согласия незнакомцы почтительно поклонились, и Оливеро занял место левого крайнего, как и положено новичку. Согласно правилу, старший в группе всегда находится в центре; когда он покидает группу, чтоб стать отшельником, новичок сначала становится слева, с самого края, затем справа, затем перемещается по левую руку от старшего, затем по правую, пока, наконец, сам не оказывается в центре на положении лидера.

Кружок, к которому присоединился Оливеро, обсуждал категорию Времени. Вообще-то такие вопросы мало интересовали здешних мудрецов. Оно и понятно: ведь в стране, где нет небесных тел, нет смены дня и ночи, не существует времен года, понимание времени не может быть глубоким. Жителям подземного мира, например, не приходило в голову измерять течение времени, да у них инструментов таких не было: ни часов, ни календарей. И все же они не могли не замечать, что вокруг постоянно что-то меняется: в гротах стекает по стенам вода, ручьи бегут в оп-

ределенную сторону, человеческое тело стареет, да и сам процесс окаменения тоже свидетельствует о переменах. Эти и другие явления нельзя оставлять без внимания. Здешние философы исходили из предположения о конечности времени. В качестве аргумента они указывали на твердость и нерушимость окружавших их каменных пород и сравнивали их застывшую монолитную толщу, заполнявшую собой все и вся, с относительно небольшим числом предметов, подверженных изменениям. С кристаллизацией последней частицы органической жизни исчезнет и ощущение времени. Время – это способность изменяться, повторяли они, это знак конечности нашей природы.

Когда-то давно, еще на земле, Оливеро познакомился с концепцией времени как субстанции, не зависимой от опыта, чистой формы, существующей вне любых конкретных событий и явлений. Он попытался осторожно изложить ее своим собеседникам. Однако такая линия рассуждений оказалась выше их понимания. Тогда он попробовал зайти с другой стороны: посмотреть на понятие времени с более широкой точки зрения, нежели их настоящий опыт. Мы же не знаем, развивал он свою мысль, насколько далеко простираются скалы. Кто знает? Может, в толще каменных пород есть пустоты, да и вся каменная масса, возможно, «плавает» в какой-то гигантской пусто-

те. Если так, то в ней должен происходить бесконечный процесс изменения, а это значит, что время реально и бесконечно.

Мысль о тверди, плавающей в пространстве, вызвала у его собеседников смех: такое представление противоречило закону о свойстве твердых тел падать с высоты и тонуть в воде. Да, они допускали возможность существования во вселенной каких-то пустот: собственно, появление у них Оливеро служит тому подтверждением. Но нарисованная им картина бесконечного пространства, откуда он якобы пришел, показалась им безудержной фантазией. Вообразить пространство, не замкнутое со всех сторон скалами, было им не под силу.

Оливеро решил больше не показывать свое превосходство в знаниях. Все равно выше головы не прыгнешь: собеседники готовы воспринимать его слова только до определенного предела. В его свидетельствах они видели не больше смысла, чем в каком-то сказочном сне. Сновидение, может, и настоящее, но очень уж необычное. Вскоре и сам Оливеро начал сомневаться в реальности своего прошлого опыта. Снова его потянуло к Витэн, — хотелось убедиться, что прошлое было правдой. Но она, похоже, навсегда от него отделилась, да и если уж на то пошло, уверовала, что весь ее земной путь был сплошным кошмаром, который привиделся ей, когда, сбившись с пути и

обессилен от долгих блужданий, она лежала в забытьи в одной из дальних пещер.

Старший в их группе решил, что Оливеро не знает основных принципов мироздания, и с разрешения трех других собеседников взялся коротко ему их объяснить. Центральное понятие, начал он, отправная точка в их рассуждениях, – это представление о Порядке, противоположном Беспорядку. Порядок, в его понимании, это не абстрактная категория неопределенного свойства, но вполне материальная субстанция: это окружающая их и заполняющая пространство каменная масса. Беспорядок же – это пустота. Существует лишь Порядок – Беспорядка нет и не может быть. Все другие догматы о природе мироздания были производными этой стержневой идеи. Например, невозможно вообразить, что у Порядка есть начало или конец. Или еще: из Беспорядка нельзя создать Порядок и, наоборот, Порядок невозможно превратить в Беспорядок. Ибо того, что не является Порядком, не существует. Порядок един для всей вселенной. Он неделим, ибо един везде, и нет такой силы, которая была бы способна его разрушить. Порядок статичен, неизменен и в каждой точке равен самому себе. У вселенной нет центра, но каждая точка мироздания являет собой суть Порядка. Мысль есть не что иное, как Порядок, ибо она есть воплощение мысли о Порядке. Любая другая мысль такой не является – она, по опреде-

лению, абсурдна. Корень любого Беспорядка – это чувства: производные нашего тела, они создают иллюзию индивидуальности. Единственно верное чувственное восприятие – то, что являет нам в каждой детали неизменный Порядок; все другие способы восприятия, убеждающие нас в многообразии явлений, процессах творения, разрушения и изменений, плодят ощущения Беспорядка и являются причиной всех зол.

Выслушав старшего и признав убедительность и стройность изложенной философии, Оливеро, тем не менее, рискнул предположить, что самые понятия Порядка и Беспорядка можно рассматривать как полярные противоположности, вкуче составляющие единое гармоническое целое. Он также высказал мысль о том, что данная противоположность лежит, возможно, в основе мироздания как некий основополагающий принцип, объединяющий пространство и пустоту, мрак и свет, притяжение и отторжение, жизнь и смерть. Он довольно сбивчиво изложил эту точку зрения, поскольку многие образы, привычные для него самого, ничего не значили для его собеседников: например, они не знали, что такое тьма, ведь они-то всегда жили при свете. Поэтому в ответ они только посмеялись над ним, сказав, что это величайшая ересь – предположить необходимость Беспорядка. Подав знак остановиться, старший подвел их к краю галереи и показал на бассейн

внизу. Как всегда, над горячим источником висело легкое облачко пара – от дуновения ветерка, гулявшего по пещерам, оно слегка двигалось то влево, то вправо. Наша жизнь, продолжал старший, подобна этому облачку теплого пара: поднимается оно от земли, плавает в воздухе, потом, столкнувшись с более холодной поверхностью скалы, оседает, превращаясь в водяные капли. Вода, в свою очередь, изменяет форму, отвердевая на толще камня. Все когда-нибудь отвердевает: таков закон вселенной.

Выражение «закон вселенной» в устах здешних мудрецов было ближе всего к нашему понятию Бога. Огня они не знали, изменчивости погоды тоже; гром, молния и другие природные катаклизмы поднебесного мира их не беспокоили, и поэтому инстинктивного страха в них не было. Вселенную они воспринимали как инертную массу: если она и проявляла активность, то лишь посредством постепенного и неотвратимого торжества порядка над хаосом. Это был один народ, он говорил на одном языке, не знал ни языковых, ни географических барьеров, – зачем ему вызывать к помощи сверхъестественных сил? Приносить жертву, чтоб умиловить бога, смягчить его гнев, – такое попросту не приходило в голову жителям подземного мира, ведь они не представляли вселенную в образе человеческого существа, наделенного характером или страстями. Да они,

скорей всего, сочли бы такое уподобление кощунством. Единственное, в чем они допускали вмешательство посторонней силы, это представление о прекрасном. Возможно, не совсем корректно говорить в этой связи о красоте, поскольку их эстетическая система не сводилась к понятию прекрасного в нашем понимании этого слова. В их мире существовало лишь два вида искусства – музыка и создание кристаллов, да и те можно назвать искусством с большой натяжкой. Мы видели, что музыка для них была математической задачей: произвести из данного набора нот все мыслимые сочетания, а это, согласитесь, скорее упражнение на развитие математической памяти, нежели искусство как таковое. Иное дело – созерцание кристаллов: суть его заключалась в чувственном наслаждении, какое человек испытывал при виде нарушений естественной гармонии, привнесенных мастером, но отнюдь не в изучении систем кристаллографии – хотя одно другому не мешало. Под нажимом Оливеро, настоявшего на обсуждении именно данного вопроса, старший признал, что это самая сложная проблема в их философии. Единственный тип абсолютной красоты, который они признавали как вечный и независимый от преходящего, – это порядок мироздания, воплощенный в структуре естественных кристаллов. В истинности этого положения никто не сомневался. Однако, издревле

люди наслаждались созданием форм, которые, не будучи точным подражанием кристаллическим образованиям, тем не менее имели с ними много общего. Здешние мудрецы так объясняли это противоречие: естественные формы – предмет интеллектуального созерцания, а объектом чувственного наслаждения являются искусственные отклонения от нормы. Разумеется, и здесь есть свои пределы: не всякое произвольное нарушение нормы автоматически означает создание прекрасного артефакта. И все же истинное наслаждение можно получить лишь благодаря отклонению, причем существенному, от абсолютной нормы. Да, в природе таких образцов не существует, но человеку доставляет удовольствие воображать, будто они есть.

В таком случае, задал вопрос Оливеро, возможно ли предположить обратное: наслаждение абсолютной нормой, воплощенной в естественных кристаллах, насыщает наши чувства – органы восприятия, тогда как удовольствие от созерцания рукотворных форм – это скорее свободная игра ума?

Обсуждение этого вопроса заняло немало кругов (счет здесь велся на круги, которыми измеряли продолжительность дискуссии) и, в конце концов, предложенную Оливеро формулировку расценили как смелый парадокс. Обратились к проблеме соотношения интеллекта и чувства, –

разгорелась полемика, в ходе которой они рассмотрели многие из аргументов, давно известных обитателям «верхнего» мира. Собеседники Оливеро согласились с общим положением о том, что ум питается чувствами и созревает постепенно в процессе чувственного восприятия. Но, переводя все на понятный им язык, они полагали, что с помощью чувственного опыта формируется и особый орган с присущим ему чувством порядка, — так неоформленные капли влаги, стекающей по стенкам грота, обретают постепенно совершенную форму кристалла. Подход этот, однако, не решал проблему, поставленную Оливеро: каково соотношение интеллекта и чувства, и как оно согласуется с чувством порядка и беспорядка?

После долгих споров решили, что формы рукотворных кристаллов следует рассматривать как промежуточные производные — нечто среднее между состоянием порядка и состоянием хаоса. Если эта гипотеза верна, то из нее следует, что есть два подхода к кристаллам: чувственный и интеллектуальный. Приверженцы первого видят в них воплощение порядка, созданного чувствами, и испытываемое ими наслаждение есть не что иное, как иллюзорная вера в способность человека победить хаос. Вторые же воспринимают кристаллы интеллектуально, осознавая разницу между рукотворным порядком, и порядком мироздания, и испытываемое ими наслаждение связано с

признанием верховной сущности порядка, которому в конечном итоге покоряется все живое.

Гипотезу Оливеро обсудили со всех сторон, и, в конце концов, все члены группы ее приняли. После этого Оливеро сделал еще один шаг, высказав предположение о существовании двух типов людей: тот, кто воспринимает кристаллы с чувственной точки зрения, как правило, их и создает. Тот же, кто рассматривает их с интеллектуальной точки зрения, – обычно мудрец, принимающий кристаллы в дар, как предмет созерцания.

И с этим предположением все согласились. Оливеро стремительно рос в глазах своих коллег. Он поступал мудро, не выпячивая свои знания и богатый опыт, – зачем напоминать, что он – пришелец из другого мира? Свои знания он держал при себе, храня, словно какой-то потаенный клад сновидений и образов, и это давало ему колоссальное преимущество перед собеседниками. Они не переставали дивиться его красноречию и мудрости, а он и не прикладывал к тому особых усилий. Притом что его коллеги умели тонко выражать свои мысли, их жизнь была проста и незатейлива, а для красноречия необходим богатый и разнообразный опыт. В остальном Оливеро был достаточно любопытен, чтоб предлагать все новые темы для спора и изучения.

Его собеседники сдавали одну позицию за другой и, наконец, уступили ему пальму первенства,

предложив стать старшим. Это была пожизненная должность, он мог сохранять ее до самой смерти, тем более что ему нравилось прохаживаться по ровной галерее, в рассеянном зеленоватом сумраке. Время от времени они подкрепляли себя пищей (порции были крошечными), благо на всем пути, на равном удалении друг от друга, стояли корзины с едой. Пить можно было из чаш, выдолбленных в скале, — в них скапливалась чистая влага. К постоянной и умеренной температуре Оливеро давно привык. Болезней, даже малейшей хвори, здешние жители не знали. Организм старился крайне медленно, изнашиваясь с той же скоростью, с какой превращалось в камень мертвое тело. Чем ближе подступала смерть, тем все более прекрасным представлялось состояние кристаллизованного совершенства. Жили здесь, по нашим меркам, до очень преклонных лет, и смерть воспринимали философски. Бывало, при обходе пещер отшельников сборщики еды натывались на застывшую фигуру, склонившуюся над умолкнувшими звонами. Когда такое случалось, они бесстрастно, умело совершали над телом обряд, клали на грудь усопшего его любимый кристалл. Затем извещали служителей усыпальницы, те приходили, выносили тело и опускали его в каменную ванну: отвердевать. Смерть так мало трогала тамошних жителей, что никто не прерывал своих занятий при виде «похоронной» процес-

сии: юноши и девушки продолжали, как ни в чем не бывало, резвиться, артельщики шли по своим делам, мудрецы сосредоточенно спорили... Смерть была не более чем дуновением ветра, перезвоном колоколовцев.

И вот настала пора, когда Оливеро почувствовал желание уединиться. Утвердившись в нем, он объявил о своем решении в группе. Коллеги приняли его безропотно, поскольку в мудрости старшего сомневаться не пристало. В общине существовало единственное правило относительно отшельничества: мудрец, выбравший для себя путь затворника, должен вначале предстать перед судьями с просьбой освободить его от должности старшего в группе. Если совет удовлетворит его прошение, то мудрец, пожелавший стать затворником, занимает место по левую руку от судей, тем самым обрекая себя еще на один круг послушничества, а он может оказаться гораздо длиннее, чем пройденный. Но на самом деле вакансии судьи чаще всего не оказывалось на момент представления мудрецом своего прошения: хотя особых привилегий у судей не было, и совет собирался редко, сама должность обладала привлекательностью в глазах любителей высокого положения и власти, а такие в подземном мире тоже были.

Судьи приняли отставку Оливеро, и он покинул совет в приподнятом настроении. Он достиг завершающего этапа в жизни: отныне его интересо-

вала только его собственная интеллектуальная свобода. Он охотно отказался бы и от одиноких прогулок с жуком или змеей, однако в этом судьи его не поддержали. Верховный судья настоятельно советовал ему не отказываться от проверенного временем ритуала: мало того, что это верный способ постепенного отдаления от общества себе подобных, — он еще и приучает сосредоточиваться на неживых предметах. Здешние мудрецы, искатели одиночества, хорошо осознавали опасности, подстерегающие каждого на пути ухода в себя. Поэтому они приучались переводить внимание с собственных мыслей на внешний предмет. Когда нет объекта созерцания, говаривали они, нас настигает безумие, и мы слепнем. Этим неживым предметом им издревле служил кристалл.

Оливеро не стал спорить и отправился выбирать жука, — насекомые ему нравились больше змей: он предпочитал четкость и ясность линий извивающемуся и скользкому телу пресмыкающегося. Жуков держали в специальном питомнике: заходи и подбирай по вкусу. Различались они разве что размером, но Оливеро сразу подобрал себе любимца: живчика, весело топорщившего усики. Казалось бы, Оливеро сам мало чем отличался от других обитателей подземного мира, давно уже приспособившись к здешним порядкам, и, тем не менее, выглядел он гораздо более молодцевато и подтянуто, чем остальные: у него

даже походка была другая – энергичнее, чем положено. Он и зверька подобрал себе под стать – живого и резвого.

Шифровальщик (так он окрестил жука) был понятливейшим созданием. Стоило Оливеро присесть отдохнуть, как он моментально прижимался к бортику и начинал наблюдать за хозяином из укрытия. Он смешно шевелил усиками, но при этом его блестящие выпуклые глазки-кнопки ни на секунду не выпускали из поля зрения Оливеро, и едва тот поднимался, чтоб идти дальше, как Шифровальщик был уже тут как тут, у ноги хозяина. Оливеро умиляла такая преданность, и, не имея привычки нежничать с животными, он все же любил находиться рядом с этим славным существом – всегда понятливым, пусть без слов, неизменно терпеливым, без признаков усталости, скуки или неприязни.

Сколько длилась эта дружба, сказать трудно, – Оливеро сам не ожидал, что так привяжется к жуку. Но, в конце концов, он настолько привык абстрагироваться от своих мыслей, глядя на Шифровальщика, что решил, не откладывая, отправиться на поиски своего последнего пристанища: одиночество в неживых стенах его больше не пугало. Еще раз напоследок они вместе обошли галерею, а потом Оливеро передал своего приятеля работникам, ухаживавшими за ручными существами, оставшимися без присмотра. Их никогда не отда-

вали в другие руки, а держали в специальных пещерах вместе с самками – для производства потомства.

Поиск последнего пристанища осуществлялся так. Будущий затворник медленно обходил верхнюю галерею. Задерживался возле каждой пещеры на пару минут, прислушиваясь к мелодии, – в каждом гроте она была своя – потом шел дальше. Всего таких пещер было около шестидесяти. Он снова и снова обходил террасу, пока не запомнил все мелодии гротов, чтобы затем выбрать самую приятную. Запомнив понравившийся мотив, он снова отправлялся на поиски, каждый раз проверяя, не ошибся ли с музыкой, и самое главное, – подыскивая свободный грот. Естественно, все лучшие места рядом с центральным гротом давно были заняты, и, если только не освобождалась пещера недавно усопшего, то новоиспеченному отшельнику приходилось в поисках места забираться далеко. Бывало, забредал он в пещеры без звонков и тогда, дождавшись сборщиков еды, отправлялся дальше вместе с ними. Подыскав грот, он оставался в нем, а сборщики шли назад – сообщить мастерам по звонам, какую именно звуковую гамму им следует изготовить в качестве путевой нити к пещере нового отшельника.

Дважды обойдя галерею, Оливеро выбрал грот со звонами на лидийский манер. Он долго стоял на пороге, вслушиваясь в нежные звуки, подоб-

ные тем, что издают струны арфы, колеблемые легким ветром. Как и все другие, эта мелодия состояла из семи нот, подобранных столь изысканно, с таким знанием музыкального лада, что всем своим мелодическим строем выражала самое возвышенное чувство интеллектуальной красоты. Выбор был сделан, можно было идти подыскивать грот, но Оливеро хотелось продлить мгновение ни с чем не сравнимого упоения, которое всегда испытываешь на пороге какого-то чудесного события: знаешь, что оно вот-вот наступит, и этот момент предвкушения придает ощущениям особую остроту. Со временем чувство наслаждения притупляется, хотя, возможно, становится богаче и глубже.

В такие мгновения Оливеро всегда хотелось узнать, что за человек был мастер, создавший эту мелодию; но узнать было негде, поскольку музыку для гротов мудрецы сочинили давно, и ее почитали как интеллектуальную реликвию. Разумеется, мелодию мог создать и кто-то из современников, только едва ли: в здешнем мире к изменениям относились с осторожностью, — если произведение прекрасно, оно прекрасно всегда, тем более что создается исключительно по необходимости.

Вдоволь насладившись музыкой, Оливеро отправился в свой последний путь по галерее. Мелодия все еще звучала у него в ушах, и он не сразу сосредоточился на главной цели путешествия —

найти свободный грот. А когда, наконец, вспомнил, – огляделся и зашел в первую попавшуюся пещеру: она оказалась пуста. Вид у нее был обжитой: каменная скамья и плита перед ней ждали очередного обитателя. Грот был средних размеров, овальный, с шатровым сводом. Стены из более темной породы, нежели Оливеро доводилось видеть до сих пор, напоминали светящееся дымчатое стекло – безупречного кристаллического рисунка. Ни одного сталактита, везде сухая поверхность; высокий и широкий входной проем отлично продувался.

Оливеро долго стоял на пороге, напряженно всматриваясь в свою последнюю обитель. Он мысленно обживал пространство, пытаясь думать о нем как о единственной реальности. Прежде чем обречь себя до конца дней на полное одиночество в этих стенах, ему было важно «примерить» их на себя, убедиться, что его ничто здесь не раздражает. Так и есть: все вокруг радует глаз – и сводчатые стены, и округлый венец потолка, теряющийся где-то в вышине, мерцающий голубовато-белым, как обнажившаяся головка кости. Он всматривался вверх, и ему казалось, что он видит в радужную оболочку громадного живого ока.

Оливеро прошел к каменной скамье и сел лицом к входу. Проем был едва виден на фоне ровной поверхности стен. Однако именно оттуда, со стороны входа, будут доноситься звоны.

Он замер, потеряв счет времени, не меняя позы. Вначале было тяжело: от неподвижного сидения на камне тело онемело, суставы затекли. Но усилением воли он таки заставил организм подчиниться, подавив внутренний ропот и найдя точку равновесия.

Здесь его и отыскиали сборщики пищи, снабдив запасами питья и еды. Спустя какое-то время они доставили ему звоны из девяти колокольцев и пластину вместо молоточка. Звоны были безукоризненно настроены, и Оливеро с упоением разыгрывал вариации. По меркам земного времени, полный звон занимал четырнадцать дней, но Оливеро давно утратил земное чувство времени и обо всем судил лишь по продолжительности самого действия.

Иногда его посещали резчики по камню, предлагая в дар свои кристаллы. А у него была одна заветная мечта – кристалл, который в камне воспроизводил бы мелодию его звонов: семь асимметричных уровней, сходящихся осями в одной точке. Он вежливо принимал в подарок другие кристаллы, они радовали его своей природной абсолютной красотой, и все же самое почетное место в центре каменной плиты он заготовил для пока не существующего кристалла, который, по его замыслу, должен был воплощать ту музыкальную гармонию, что привела его сюда. Надо сказать, мастера-границильщики настолько проник-

лись его идеей, что, в конце концов, сумели создать желанный кристалл. Это был крупный камень, около десяти дюймов, и благодаря сложной игре света и отражений, в нем создавалась особая цветовая гамма, от золотистого до голубого, с металлическим отливом.

Теперь, когда у Оливеро были все атрибуты созерцательной жизни, пора было предаться затворничеству и начинать готовиться физически и душевно к неотвратимому концу. В своем отшельничестве он предавался двум занятиям: либо упивался стройностью линий, кристаллами и звонами, либо погружался в сладостное ожидание неизбежной смерти. Он предвкушал, что наступит время, когда тело отделится от души, душа от тела, и тело обретет свободу. Он стал настолько умудренным, что душу полагал возмутителем спокойствия плоти. Это душа возбуждает чувства и заставляет нас искать духовных наслаждений. Однако нет иного удовлетворения, кроме физического, данного нам в определенной пропорции и неизменного. Тело наше познает блаженство, лишь обратив зрительные и слуховые впечатления внутрь себя, лишь укрыв от внешнего мира внутренне, присущее ему совершенство, лишь утратив все чувства и желания, и возжаждав ясного и гармонического бытия. Все совершенное, — абсолютную ли красоту, абсолютное добро, суть или истинную природу вещей, — наши

изменчивые чувства уловить не в состоянии. Их постигает только тело, когда отвергает снедающие его сомнения и желания и обретает долгожданную кристальную чистоту. Совершенное знание – отнюдь не изменчивый процесс восприятия; это заключительная фаза бытия. Ничто не существует непреложно, кроме материи, и ничто не способно существовать вечно, кроме гармонически организованной материи. Ибо что такое хаос, как не материя, возмущенная нематериальными силами?

Касаясь этих вопросов, Оливеро рассуждал примерно так. Разве я на своем опыте не убедился в том, что пока мы живы и душа возбуждает плоть, мы не знаем ни удовлетворения, ни покоя? Разве душа с ее жадной власти – не источник бесконечных бед? Разве не подвержена она болезням, что подстерегают нас на каждом шагу, на пути к истинному существованию? Разве не заражает она нас любовью, похотью, страхами, причудами, гордыней? Как часто лишает она нас воли! А если мы и действуем, то обычно во вред своему телу. Что порождает войны и мятежи? Что, как не дух и его соблазны? Источник войн – это жажда власти, а к власти рвутся, стремясь насытить духовную гордыню. Так, в погоне за ложными ценностями, мы забываем о философии. Нам некогда остановиться, задуматься – еще бы! Душа все время отвлекает, волнует, смущает, изумляет нас настоль-

ко, что мы уже не в состоянии различить правду. Я по опыту знаю: хочешь добиться совершенного знания о каком-то предмете – убей душу: только тело, лишенное чувств, способно достичь состояния гармонии и совершенства. Достичь абсолютной красоты, которой, по нашим словам, мы жаждем и которую любим, можно только при одном условии – если умереть. Ибо только в этом случае – и ни при каком другом условии – тело отделится от души и пребудет само по себе, свободно. При жизни мы никогда так близко не оказываемся к совершенству, как в отсутствие каких-либо позывов души: лишь в состоянии духовного голода обретаем мы чистоту, пока сам Господь не освободит нас. Избавившись же от волнений духа, мы обретем совершенство и приобщимся к мировой гармонии, и на себе познаем закон материальной вселенной, который и есть истина. Когда мое тело обретет эту высшую гармонию, тогда закончится мой путь – и да свершится то, что было целью моей жизни. Все туманное, аморфное, мягкое, изменчивое отпадет, забудется, низвергнется в хаос бесформенной материи. Однако из той же массы постепенно выкристаллизуется все, что крепко и конечно, неизменно и вечно, все, что нетленно и гармонично. Порядок этот существует до и после жизни – в мирах, еще не созданных, в мирах, уже отживших, остывших, вымерших. Порядок этот есть гармония вселен-

ной, равно как и гармония кристалла. Я жажду одного – стать частью общей гармонии, повинуюсь каждой частицей моего бренного тела ее незыблемым законам и пропорциям.

Когда пришел час смерти, Оливеро удовлетворенно отметил, что кровь отхлынула от конечностей, и боль, так долго терзавшая его, наконец, отпустила. Умирал он медленно, бесстрастно наблюдая за тем, как бледнеют кожные покровы, как тело охватывает мраморная неподвижность, навсегда фиксируя суставы и отключая орган за органом. Сердце металось, как слабый язычок пламени в догорающей лампе. Собрав последние силы, он загасил свечу.

Когда служители несли его тело к каменной ванне, по дороге им встретилась другая погребальная процессия – женская. Служительницы несли в усыпальницу тело Витэн, умершей в один час с Оливеро. Тела их положили рядом в один каменный бассейн. Так, разлученные при жизни, они встретились после смерти, приобщившись к кристальной гармонии мироздания. Когда в каменном склепе набралось довольно влаги, Веточкины косы расплелись и, точно каменная вязь, накрыли грудь Оливеро, навсегда сцепившись с коралловыми нитями его густой бороды.

Комментарии

Стр. 45. *Миля*. – Английская миля равна 1,6 км. Действие в первой части романа происходит в Англии в середине XIX в. – тогда у англичан в ходу была исключительно их собственная национальная система мер и денежных единиц.

Стр. 53. *Фут* – английская мера длины, равная 0,3 м. Ярд равен 0,9 м.

Стр. 106. *...ни волнения, ни водоворотов*. – В тексте романа, кажется, нет ничего напрямую иносказательного. И все же по отдельным словам можно догадаться, что по ходу сюжета упоминаются некоторые явления искусства и культуры первой трети XX в., а также политики и истории. В данном случае контраст между бурлящими водами у мельницы и спокойным верховьем реки, где нет «ни волнения, ни водоворотов» (по-английски, vortex), видимо, содержит намек на движение вортицизма в англий-

ском искусстве 1910-х гг., которое Герберт Рид хорошо знал по творчеству своих друзей, в первую очередь, Уиндема Льюиса.

Вортицизм (от англ. vortex – вихрь, водоворот) – авангардистское течение в литературе и искусстве Англии, бурно развивавшееся в 1912–1915 гг. Поэты-вортицисты Уиндем Льюис, Эзра Паунд, Годье Бржеска, художники С. Р. Невинсон, Эдвард Уэдсворт и скульптор Джейкоб Эпштейн выступали против сентиментальности искусства XIX в., творя новый век машин, экспрессии и движения в абстрактных геометрических вихреобразных формах. В 1914 г. У. Льюис начал издавать модернистский журнал «Бласт»: Обзор великого английского водоворота», задуманный им как вызов безмятежному спокойствию соотечественников.

Стр. 121. *Бордо* – главный город французского департамента Жиронда и порт на реке Гаронне, основан римлянами и в древности служил главным укрепленным городом римской провинции Аквитания; в декабре 1870 г. был местом пребывания делегации правительства национальной обороны, в феврале 1871 г. – национального собрания.

Марокко – Королевство Марокко (по-арабски – Аль-Мамляка аль-Магрибия, или Магриб аль-Акса, буквально – дальний запад) – государство на северо-западе Африки. Омывается на севере водами Сре-

диземного моря и на западе – Атлантического океана. От материковой Европы Марокко отделяет Гибралтарский пролив. На востоке и юго-востоке Марокко граничит с Алжиром, на юге – с Западной Сахарой.

Стр. 122 *Бискайский залив* – залив Атлантического океана у западных берегов Европы, между материком и Пиренейским полуостровом. В него впадают крупные реки Луара и Гаронна. Основные порты на побережье залива – Брест, Сен-Назер, Ла-Рошель, Рошфор (Франция), Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер (Испания).

Кадис – город и важный порт на юго-западе Испании в Андалусии на берегу Кадисского залива Атлантического океана. Кадис является административным центром провинции Кадис. Этот крупный транспортный узел и промышленный центр юга страны был основан финикийцами около 800 до н. э. (по др. данным, в 1100 до н. э.) и известен как Гадес. Около 500 до н. э. Кадис (Гадес) попал под власть Карфагена, в 206 до н. э. был захвачен римлянами; в 49 до н. э. стал римской муниципией. В V в. захвачен вестготами, затем арабами (VIII в.), у которых его отвоевал в 1262 кастильский король Альфонс X. Во время Испанской революции 1808–1814 гг. Кадис служил временной резиденцией центральной хунты и кортесов. Восстания войск и экипажей кораб-

лей в Кадисе послужили началом революций в 1820 и 1868 гг. Кадис имеет в основном регулярную планировку. Архитектурный ансамбль Кадиса, приятно поразивший Оливеро, включает крепостные стены XVII в., старый собор Санта-Крус XIII в., церковь Санта-Куэва (конец XVIII в., расписана в 1793–1795 гг. Ф. Гойя), многочисленные постройки XVIII–XIX вв. в духе классицизма.

Мыс Сент-Винсент – Мыс Сент-Винсент (Сан-Винсенти) находится на юго-западе Европы, на южном берегу Испании вблизи пролива Гибралтар, соединяющего Атлантический океан и Средиземное море. У мыса Сент-Винсент в 1797 г. произошло крупное морское сражение между английским флотом и кораблями Французской республики, закончившееся победой англичан.

В памяти жителей еще жива была горечь недавних войн... – Имеется в виду подавление французскими войсками революционного движения в Испании в 1820–1823 гг., одним из центров которого был Кадис.

Стр. 124. *В течение многих лет Кадис был революционным очагом Испании.* – Во время Испанской революции 1808–1814 гг. Кадис служил временной резиденцией кортесов. В 1814–1819 гг. в армейской среде и во многих крупных городах, в первую очередь, Кадисе, возникали тайные общества масонско-

го типа. Участники заговоров – офицеры, юристы, торговцы, предприниматели – ставили перед собой цель подготовить государственный переворот, движущей силой которого будет армия, и установить конституционную монархию. В 1814–1819 гг. неоднократно предпринимались попытки подобных выступлений.

Кортесы – народное представительство в Испании (сенат и палата депутатов), образованное из собраний сословных представителей. Кадисские кортесы – учредительное собрание в Испании во время Испанской революции 1808–1814 гг. Созванное 24 сентября 1810 г. на острове Леон, собрание 20 февраля 1811 г. переместилось в Кадис, где работало до 20 сентября 1813 г. Кадисские кортесы приняли ряд важных решений, направленных на развитие достижений революции: в октябре 1810 г. был введен закон о равенстве между испанцами и латиноамериканцами, установлена свобода слова и печати, в августе 1811 г. издан закон об уничтожении сеньориальных прав и привилегий, в феврале 1813 г. была упразднена инквизиция и приняты законы против религиозных орденов; кортесы приступили к конфискации и продаже церковных земель и отменили ряд налогов, взимавшихся в пользу церкви; ликвидировали цехи и гильдии и установили свободу торговли между метрополией и американскими колониями. Однако кортесы не сумели возглавить борь-

бу народных масс против французских оккупантов, вторгшихся в Испанию в 1808 г., и сил внутренней реакции. Они распространяли свою власть на небольшую (неоккупированную) часть территории Испании. Кортесы не решились конфисковать земли светских феодалов и передать их крестьянам. Важнейшим историческим актом Кадисских кортесов было принятие Кадисской конституции 1812 г.

Стр. 125. *Восстание было подавлено армией французов под предводительством герцога Д'Ангулема...* — Речь о подавлении восстания Рафаэля дель Риго в январе 1820 г., ставшего началом второй революции в Испании. Веронский конгресс Священного союза, собравшийся в октябре 1822 г., принял решение об организации вторжения. В апреле 1823 г. французские войска перешли испанскую границу. В мае 1823 г. правительство и кортесы были вынуждены покинуть Мадрид и переехать в Севилью, а затем в Кадис. Несмотря на героическое сопротивление армии генерала Мины в Каталонии и отрядов Риго в Андалусии, в сентябре 1823 г. почти вся Испания оказалась во власти контрреволюционных сил. 1 октября 1823 г. Фердинанд VII подписал декрет, отменявший все законы, принятые кортесами в 1820–1823 гг. В Испании вновь утвердился абсолютизм, церкви были возвращены отнятые у нее земли. Правительство начало преследовать участников революции. В ноябре 1823 г. Рафаэль дель Риго был казнен.

...трусами Вольнея и Монтескье – Вольней, Константен Франсуа, граф де Шасбеф (1757–1820), французский историк и философ, чей труд «Руины» значительно повлиял на французскую литературу XIX века. Еще студентом, Вольней посещал парижский салон Анны Катерины, вдовы философа Клода Гельвеция, вместе с энциклопедистом бароном де Гольбахом и Бенджаминем Франклином. Интерес Вольнея к истории и древним языкам увлек его в путешествие по Египту и Сирии, плодом которого стало, в частности, двухтомное сочинение «Путешествие по Египту и Сирии» (1787 г.). Труд жизни Вольнея, самая значительная его книга «Руины, или обзор революций в империях» появился в 1791 году. Вольней исследовал начала гражданского общества и причины его распада, и революцию рассматривал как следствие отказа от принципов естественного порядка и веры, равенства и свободы. Как член Конституционной Ассамблеи, Вольней ратовал за создание Национальной Гвардии и разделение Франции на коммуны и департаменты. В 1792 году он купил имение на Корсике, надеясь собственным примером увлечь единомышленников идеей улучшения сельского хозяйства. Вольней занимал должность профессора истории в парижской Эколь Нормаль (1794 г.), а в 1795–1798 гг. предпринял путешествие в Соединенные Штаты Америки, где собрал материалы для обширного труда «Взгляд на состояние почвы и климата Соединенных Штатов Америки» (1804 г.)

В 1814 г. король Франции Людовик XVIII присвоил ему титул пэра.

Монтескье, Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Брэд и де Монтескье (1689–1755) – французский просветитель, правовед, философ и писатель. Монтескье происходил из старинного дворянского рода. По окончании католического коллежа в 1705 г. изучал право в Бордо и Париже. В 1714 г. Монтескье стал советником, а с 1716 г. – одним из вице-президентов парламента (суда) Бордо. С 1726 г. жил в Париже, а в 1727 г. стал членом института Франции. В 1728 г. предпринял путешествие по Европе, посетив Италию, Пруссию, Нидерланды, в 1729–1731 гг. жил в Великобритании. Английская конституционная практика, взгляды английских правоведов и философов оказали большое влияние на формирование государственно-правовых идеалов Монтескье, наиболее ярко выраженных в книге «О духе законов» (1748 г., русский перевод опубликован в 1900 г.), – энциклопедическом труде, основанном на широком использовании сравнительного и сравнительно-исторического методов. Монтескье придавал большое значение в формировании позитивного права и форм правления государства географическим факторам (особенно климату). Жаркий климат, считал он, порождает лень и страсти, убивает гражданские доблести и является причиной деспотического правления. Подобная позиция

сделала Монтескье одним из основоположников т. н. географической школы в социологии. Однако важнейшее значение он придавал политическим факторам и, прежде всего, форме правления. Основной темой книги «О духе законов» и являлась проблема разумного государственного строя и его организация. Исходя из античных политических теорий, Монтескье различал три «правильные» формы правления (демократия, аристократия и монархия) и одну «неправильную» (деспотия). Полагая монархию наилучшей формой правления, Монтескье в качестве средства, способного предотвратить трансформацию монархии в деспотию и обеспечить политическую свободу, полагал принцип разделения властей, а также федеративную форму государственного устройства. Монтескье сыграл значительную роль в истории Франции, в развитии мировой общественной мысли как критик королевского деспотизма и идеолог конституционной монархии. В правовой области Монтескье выдвинул ряд прогрессивных принципов: равенство граждан перед законом, широкое избирательное право, свобода слова, печати, совести, отделение церкви от государства, отказ от пыток и суровых наказаний, необходимость международных соглашений о гуманизации методов войны и т. д. Теория разделения властей оказала большое влияние на американскую конституцию 1787 г., французскую конституцию 1791 г. и др. Исторические взгляды Монтескье нашли выражение в его труде «Размышле-

ния о причинах величия и падения римлян» (1734 г.). Монтескье отказывается от теологического понимания истории, выдвигает положение об объективной закономерности исторического процесса. Книга «О духе законов» была внесена в «Индекс запрещенных книг», тем не менее она выдержала 22 издания на протяжении двух лет (1748–1750 гг.), была переведена почти на все европейские языки. Первыми переводчиками этой книги в России были А. Д. Кантемир и А. Н. Радищев (оба перевода не сохранились). Литературную славу Монтескье принес роман «Персидские письма» (1721 г., русский перевод опубликован в 1789 г.) – одно из лучших произведений т. н. философского жанра, характерного для XVIII в. Идеи романа изложены в форме переписки друзей – персов Узбека и Рики, «наивных» и в то же время мудрых критиков французского светского общества, преисполненного спеси и ослепленного мишурным блеском своей «цивилизованности», от которой неотделимы суеверия, гнет церкви и власти, оторванная от жизни ученость, искусство, состоящее из риторических славословий, условностей, крайней манерности. Полная иронии, тонкого остроумия, сатира Монтескье затронула все пласты французской абсолютной монархии, ее политическую жизнь, культуру, обычаи, нравы ее подданных. Поэмы в прозе «Книдский храм» (1725 г.) и «Путешествие в Пафос» (1727 г.) написаны в духе гедонистического эпикурейства дворянских салонов и будуаров с их

излюбленными мифологическими персонажами, эротическими сюжетами. «Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства» (написан в 1753 г., опубликован в 4-м т. «Энциклопедии» Д. Дидро, 1757 г.) выдержан в целом в традициях классицизма. Однако, выступая как сторонник порядка, симметрии, рациональности, ясности в художественном произведении, Монтескье ценит и прелесть эффектов неожиданности, небрежности, безыскусственного обаяния.

Стр. 127 *„знаменитого мятежного генерала Рафаэля дель Риего“*. – Риего-и-Нуньес, Рафаэль (1785–1823), деятель Испанской революции 1820–1823 гг. Родился в обедневшей дворянской семье. В 1808 г. окончил военную школу в Овьедо. Участвовал в национально-освободительной войне против французских оккупантов, был взят в плен и вывезен во Францию, где вступил в масонскую ложу. Вернувшись в Испанию в 1814 г., после окончания войны, Риего-и-Нуньес установил связь с испанскими масонскими ложами и офицерами, готовившими восстание против деспотического режима Фердинанда VII. Участвовал в неудавшемся военном заговоре 9 июня 1819 г. 1 января 1820 г. Риего поднял восстание, послужившее началом революции. Провозгласив восстановление конституции 1812 г., Риего-и-Нуньес после неудачной попытки взять Кадис совершил во главе полуторатисячного отряда рейд по Андалусии в январе–мар-

те 1820 г. После вступления в силу конституции 7 марта 1820 г. стал командиром дивизии Армии наблюдения, созданной из андалусских революционных войск, в июне–августе 1820 г. был главнокомандующим этой армией. В 1820–1823 гг. Риего стал одним из лидеров партии эксальтадос. В январе 1821 г. по требованию эксальтадос Риего (ранее сосланный в гарнизон Овьедо за выступления против роспуска Армии наблюдения) занял пост генерал-капитана Арагона. 1 марта 1822 г. стал первым президентом мадридских кортесов. В июле 1822 г. сыграл руководящую роль в подавлении в Мадриде абсолютистского мятежа королевской гвардии, что позволило оттеснить от власти партию модерадос (умеренные) и сформировать в августе 1822 г. правительство эксальтадос. Политические взгляды Риего-и-Нуньеса в это время все более сближались с платформой движения комунерос. Во время начавшейся в апреле 1823 г. французской интервенции отряды Риего были разбиты французскими войсками 12–14 сентября в сражениях при Хаэне, Манча-Реаль и Ходаре. Риего был схвачен абсолютистами, перевезен в Мадрид и вскоре казнен по приговору королевского суда. В одном из своих вольных стихотворений К. Ф. Рылеев (1795–1826) вспоминает о Риего как истинном гражданине отечества:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан

И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?...
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

(1824)

Стр. 128. *По случаю смерти Фердинанда и начала правления Королевы...* – После смерти в сентябре 1833 г. испанского монарха Фердинанда VII (1784–1833) страной стала править его дочь королева Изабелла.

...уеду искать счастья в освободившихся колониях...
– Речь идет о странах Латинской Америки, бывших колониях Испании. К началу 1826 г. Испания потеряла все колонии в Латинской Америке, за исключением Кубы и Пуэрто-Рико.

Стр. 132. *Ронкадор.* – Это название связано, по крайней мере, с двумя точками на карте южного полушария. Ронкадор – один из островов Вест-Индии; известно, что испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра (1539–1595) в январе 1568 года открыл коралловый остров в Экваториальной Полинезии, атолл Ронкадор и остров Санта-Исабель, окруженный цепью коралловых рифов, которые назвал Соломоновыми островами. Одновременно слово

«Ронкадор» входит в название Серра-ду-Ронкадор – горная цепь на севере Амазонии, которая представляет собой уникальный заповедник фауны. Эта территория лежит в центре материка, и ее площадь равна Франции, а земли относятся к двум бразильским штатам – Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул, – Парагваю и Боливии, но почти половина этих необъятных территорий лежит в границах Бразилии. «Ничейные земли» – именно так справедливо окрестили эту местность, истинное царство орнитологов и любителей дикой природы, которые могут наблюдать здесь за жизнью птиц, крокодилов, игуан, ягуаров, ланей, оленей, выдр, гигантских и карликовых муравьедов, обезьян и тапиров. Когда начинается сезон дождей, район практически недоступен: горные потоки превращаются в реки, суша – в островки, где находят приют животные. Постепенно болота переходят в леса, простирающиеся от северо-востока к Паране, штату на юге Бразилии. Именно сюда, на берега, поросшие непроходимым лесом, высадились первые португальские конкистадоры. Одним из самых нетронутых районов, лежащих к югу от Сан-Паулу, является зона лесов, в 1958 г. объявленная национальным парком. Другим считается горная цепь Журеия, что на языке тупи-гуарани означает «выступающий пик», – громадный горный массив, раскинувшийся до побережья Сан-Паулу. Это настоящий рай с простирающимися на сорок километров девственными пляжами.

Стр. 133. *Последним актом, завершившим падение Империи, стало вторжение Наполеона на Пиренейский полуостров.* – Речь идет о вторжении наполеоновских войск в Испанию в марте 1808 г., продиктованном сложной политической интригой Наполеона Бонапарта: он намеревался низложить династию Бурбонов, к которой принадлежал правящий испанский король Фердинанд Седьмой, и возвести на испанский трон династию Бонапартов. Последнее ему удалось: в том же году он возвел на трон своего брата Иосифа Бонапарта, а Фердинанда удалил в Валенсию. Однако, бесцеремонная политика захвата власти, проводимая французами, вызвала сопротивление в Испании и Португалии: в том же 1808 году на Пиренейском полуострове началась война двух этих стран против наполеоновских войск. Она продолжалась до 1814 г., вплоть до изгнания французов и возобновления правления Фердинанда. Таким образом, под «падением Империи» имеется в виду процесс распада испанской империи.

Стр. 135. *Провал восстания дель Риiego* – см. коммент. к стр. 127.

Гаучо – этническая группа, сформировавшаяся в XVI–XVII вв. в результате браков испанцев с индейскими женщинами Аргентины и Уругвая. С XVIII в. гаучо в большинстве стали работать пастухами на скотоводческих фермах. Славились как превосход-

ные наездники. Многие из гаучо принимали участие в движении за независимость испанских колоний в Америке (XIX в.).

Стр. 142. *Индейское племя гуарани* – племя, принадлежащее индейской этнической группе тупи-гуарани в Парагвае, по статистике 1987 г. насчитывает 30 000 человек. По своим религиозным убеждениям гуарани – католики.

Стр. 149. *Эстансия* – от исп. *estancia*, усадьба. Для испанцев, проживающих в Америке, эстансия – это имение, поместье, животноводческая ферма; для жителей Венесуэлы и Кубы это «усадьба»; наконец, общее значение слова в испанском языке – комната, апартаменты.

Юкка – многолетнее древовидное растение из семейства агавовых. Род объединяет около сорока видов, произрастающих в Центральной и Южной Америке. На родине волокна листьев некоторых видов используются в канатном производстве.

Взрослое растение выглядит как ложная пальма. Зеленые, сизоватые мечевидные, линейные листья собраны пучком на верхушке ствола.

Стр. 161. *Великий труд Вольнея* – Речь о сочинении «Руины, или Обзор революций в империях» (1791 г.) французского историка и философа, одного из де-

ятелей эпохи Великой Французской революции Константена Франсуа Вольнея (см. также коммент. к стр. 169).

Стр. 169. *Рейналь Пийом Тома Франсуа (1713–1796)* – французский писатель и просветитель, влиятельная в свое время фигура, предшественник деятелей Французской революции. Воспитывался в школе иезуитов в Авейроне и сам стал членом иезуитского ордена. В 34 года оставил братство и уехал в Париж. Занился литературой и с 1747 по 1752 гг. состоял в литературной переписке с герцогиней Доротеей Сакс-Гота, которой он посвятил свои «Литературные новеллы». Впрочем, первыми значительными его публикациями стали «История» (1747) и «История Английского парламента» (1748). С 1750 по 1754 гг. Рейналь издавал «Меркюр де Франс». В это время он подружился с Монтескье и стал вхож в дома Гельвеция и Гольбаха. Самое знаменитое произведение Рейналя – это шеститомная «Философская и политическая история установления торговых связей между Европой и Индией» (1770; перераб. изд. 1780 г.). Соавторами Рейналя выступили Дидро и ученик Монтескье Александр Делер. Подчеркнуто антиклерикальный труд представлял собой компендиум фактов и идей об истории, экономике и политике, – с него ходили многочисленные списки. Постановлением Парламента Парижа 1781 г. книга была сожжена, а автор выслан из Франции. Лишь в 1790 г. реше-

ние о ссылке Рейналя было аннулировано, и он смог вернуться в Париж.

Стр. 191. *Солон, Цезарь, Карл Великий.* – Солон (между 640 и 635 гг. – около 559 до н. э.), афинский политический деятель и социальный реформатор. Происходил из обедневшего знатного рода Кодридов; занимался морской торговлей, путешествовал. Солон прославился как военачальник в войне Афин с Мегарой за Саламин (конец V в. до н. э.). Будучи избранным в 594 г. до н. э. архонтом и айсимнетом (посредником для улаживания социальных споров), провел ряд социально-политических реформ. Первая реформа – сисахфия (греч. *seisachtheia*, буквально – стряхивание бремени, т. е. снятие долговых камней с земельных участков бедноты) – отменяла поземельную задолженность, ликвидировала долговое рабство; проданные в рабство за долги афиняне были выкуплены и возвращены на родину. Закон о свободе завещаний сделал возможным дробление родовых земельных владений. Ряд реформ Солона был проведен в интересах торгово-ремесленных слоев общества: унификация мер и весов; замена эгинской монеты более распространенной эвбейской; разрешение торговых товариществ. Согласно реформе государственного строя – тимократической конституции (т. е. основанной на имущественном цензе), все граждане были разделены на 4 класса (или разряда) по количеству доходов

с земли: пентакосиомедамны, всадники, зевгиты, феты. Политические права каждого класса определялись размером имущества. Солон усилил роль народного собрания (эκκληсии), создал два новых органа управления: Совет четырехсот и суд присяжных. Реформы Солона способствовали ускорению ликвидации пережитков родового строя и господства родовой аристократии, заложили основы афинской рабовладельческой демократии. Один из первых аттических поэтов, Солон писал элегии и ямбы. Греческая традиция включает Солона в число «семи мудрецов».

Гай Юлий Цезарь (102–44 г. до н. э.) – римский полководец, один из основателей Римской империи и цезаризма, выдающийся автор военно-исторических мемуаров («Записки о Галльской войне», «Записки о гражданской войне»), отличающихся высокими художественными достоинствами – ясным, экспрессивным и предельно лапидарным стилем.

Карл Великий (742–814 гг.) – франкский король с 768 г., с 800 г. – император. Принадлежал к династии Каролингов, старший сын Пипина Короткого, внук Карла Мартелла. Его завоевания (в 773–774 гг. в Италии, в 772–804 гг. земель саксов и др.) привели к образованию обширной империи. Способствовал распространению христианства на завоеванных землях. Карл приглашал к своему двору (его резиденция

была в Ахене) знаменитых ученых, поощрял просвещение, покровительствовал монастырям.

Стр. 203. *...один жил в районе реки Парана, а другой – на границе с Уругваем.* – Парана – река в Южной Америке, в Бразилии и Аргентине, вторая по величине после Амазонки («рагапа» на языке индейцев гуарани – большая река); частично служит границей между Аргентиной и Парагваем. Длина 4380 км. Парана образуется слиянием рек Риу-Гранди (Рио-Гранде) и Паранаиба; она течет на юг, сливаясь в низовьях с рекой Уругвай. Соединившись с рекой Уругвай, Парана впадает в залив-эстуарий Ла-Плата (иногда всю реку называют Ла-Плата – Парана). На Паране стоят крупные города: Посадас, Корриентес, Санта-Фе, Парана, Росарио; на берегах Ла-Платы – Буэнос-Айрес (столица Аргентины) и Монтевидео (столица Уругвая). Устье реки впервые посетил в 1515 г. испанец Хуан Диас де Солис. В 1520 г. здесь побывал Ф. Магеллан. Более детально ознакомился с системой Ла-Плата – Парана С. Кабот, который в 1526 г. первым из европейцев вошел в устье реки.

Стр. 220. *Вооружившись теодолитом и мерной цепью...* – Теодолит – геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографических и маркшейдерских съемках, в строительстве и т. п. Основной рабочей мерой

в теодолите служат горизонтальный и вертикальный круги с градусными и более мелкими делениями. До середины XX в. применяли теодолиты с металлическими кругами, отсчитываемыми с помощью микроскопов-микрометров. Мерная цепь равна 66 английским футам.

Н. Рейнгольд

Содержание

Terra Incognita
Герберта Рида
5

Герберт Рид
19

Часть первая
43

Часть вторая
108

Часть третья
247

Комментарии
298

Герберт Рид
Зеленое дитя
Роман

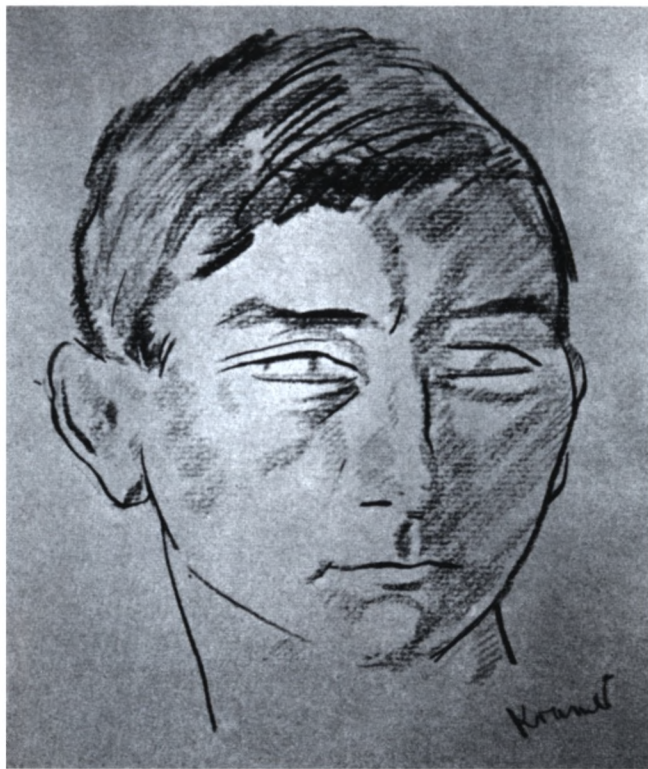
Директор издательства А.Гантман
Редактор Е.Тарусина
Корректор Т.Владимирова
Художник А.Рыбаков
Компьютерная верстка С.Спутнова

Подписано в печать 22.10.2004. Формат 84х100 1/32
Бумага офсетная N1. Гарнитура Гaramond. Печать офсетная
Усл.печ.л. 10 + вкладка 10,5. Тираж 3 000 экз. Заказ № 5404

Издательство Б.С.Г.-ПРЕСС
109147, Москва, Большая Андроньевская ул., д.22/31
Тел/факс (095) 631-06-02
E-mail: bsgpress@mtu-net.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК "Ульяновский Дом печати"
432980, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 14

Герберт Рид



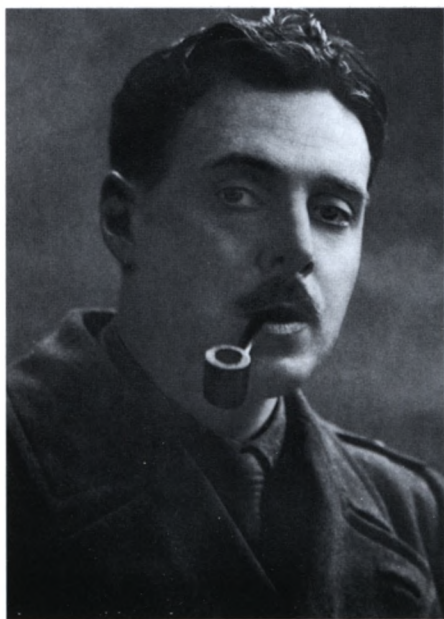
Юный Герберт Рид (Рисунок Якова Крамера)



*Герберт Рид среди однополчан, оставшихся в живых
после сражения на Сомме (1918 г.): третий
в среднем ряду (слева направо)*

Герберт Рид

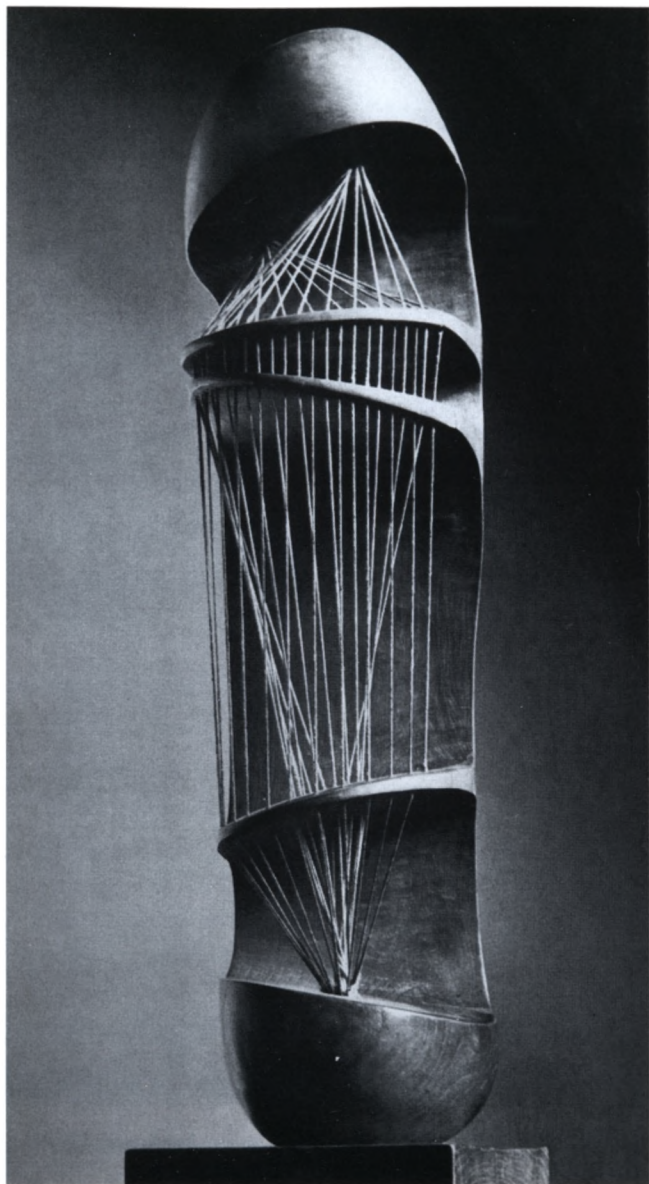
*Уиндем Льюис
в 1913 г.
(Автопортрет)*



*Уиндем Льюис
в 1916 г.*



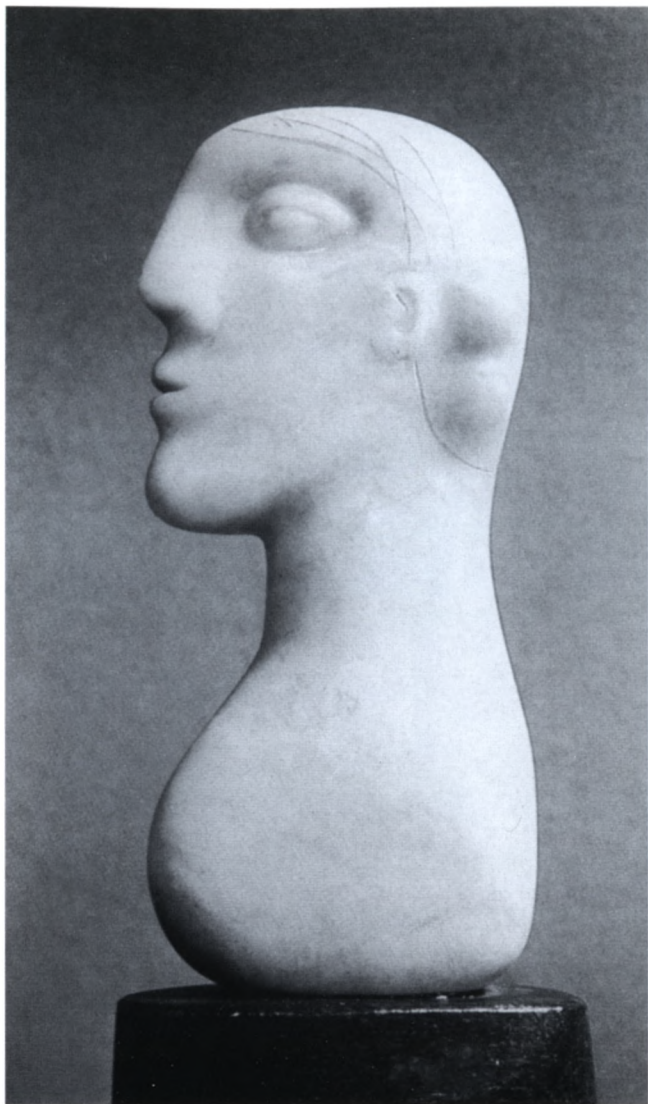
Генри Мур – рядовой 15-го Лондонского полка в 1917 г.



Фигура со струнами. Скулптура Генри Мура (1937 г.)

I

whether by contrast with the following months, or from some
 quality quite their own, the days of the first three
 weeks of March 1919 have left with me a sense
 of wonderful peace and of the freshness of earth
 hard to match in a ^{young} short life. They were days
 of bright ~~sunshine~~ ^{light}, of sunlight unfettered even
 by clouds; and the ~~nearest~~ ^{nearest} villages we mostly lived in
 were shadowless. It was a wonder to us that the
 month should be so warm & we began to disperse
 the dreary bleakness that ~~we could not help but~~ ^{unavoidably we mingled with}
~~concealing~~ ~~called to mind~~ when our thoughts were
 of our own land. At ETRILLORS, where we must
 have been ^{in reserve} about the second week of the month,
 the French who had recently occupied the sector,
 had constructed from the wreckage a ^{comfortable} ~~jolly~~ mess, in
 appearance like a Swiss cottage. ~~Outdoors was~~
~~an impossible~~ ^{with an elevated hearth} well-worked. Every day it was
 glorious enough to sit outside, a book or one's
 lap, ~~hard to concentrate~~ ^{then just} ~~into~~ ^{reflected} for how
 could ~~there~~ not a lazy man help following the
~~revolutionary~~ ~~speculations~~ of an old dapper horse, probably some
 the as, belaboured by a ^{red-faced} ~~under~~ groom, it
 tugged round the ~~shaft~~ ^{shaft} that worked the ~~engine~~
 strong mechanism of the village mill? ~~How could~~
~~we~~ ~~have~~ ~~been~~ ~~so~~ ~~close~~ ~~to~~ ~~the~~ ~~heart~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~thing~~ ~~as~~ ~~we~~ ~~are~~ ~~now~~ ~~with~~ ~~the~~ ~~derelict~~ ~~goat~~ ~~see~~
~~if~~ ~~ever~~ ~~but~~ ~~is~~ ~~expended~~ ~~to~~ ~~the~~ ~~point~~ ~~of~~ ~~seeing~~ ~~that~~ ~~they~~ ~~rope~~ ~~about~~ ~~the~~ ~~yard~~
~~reference~~ ~~to~~ ~~my~~ ~~hand~~ ~~from~~ ~~which~~ ~~these~~
~~And~~ ~~the~~ ~~line~~ ~~itself~~ ~~when~~ ~~we~~ ~~were~~ ~~here~~ ~~was~~
 almost as idyllic. We were doing then, I think
 eight-day tours, and the last time we were in

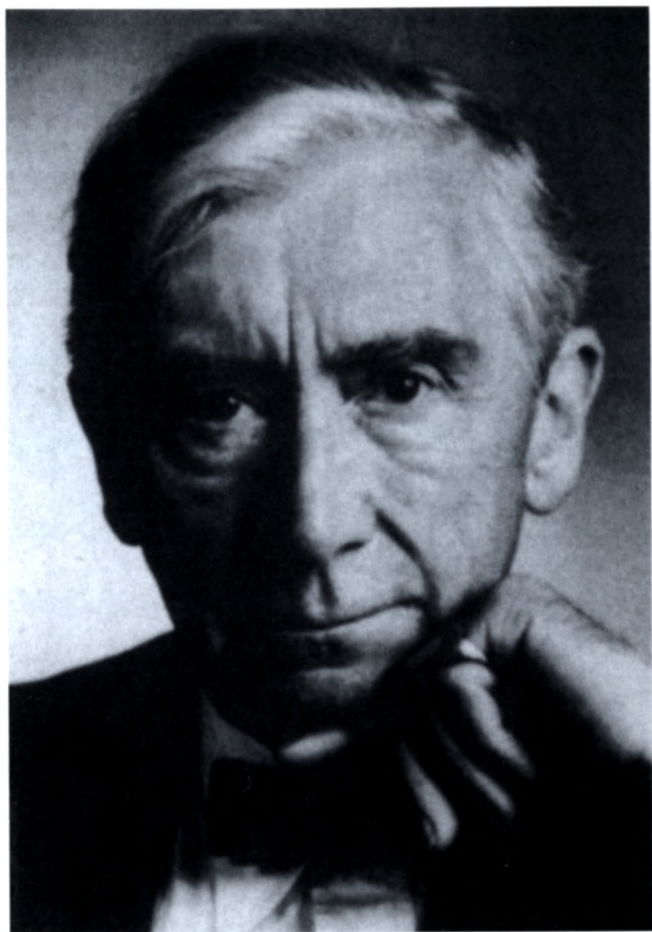


Голова в шлеме №6. Скульптура Генри Мура (1937 г.)



Падающий воин. Скульптура Генри Мура (1956–1957 гг.)

Герберт Руд



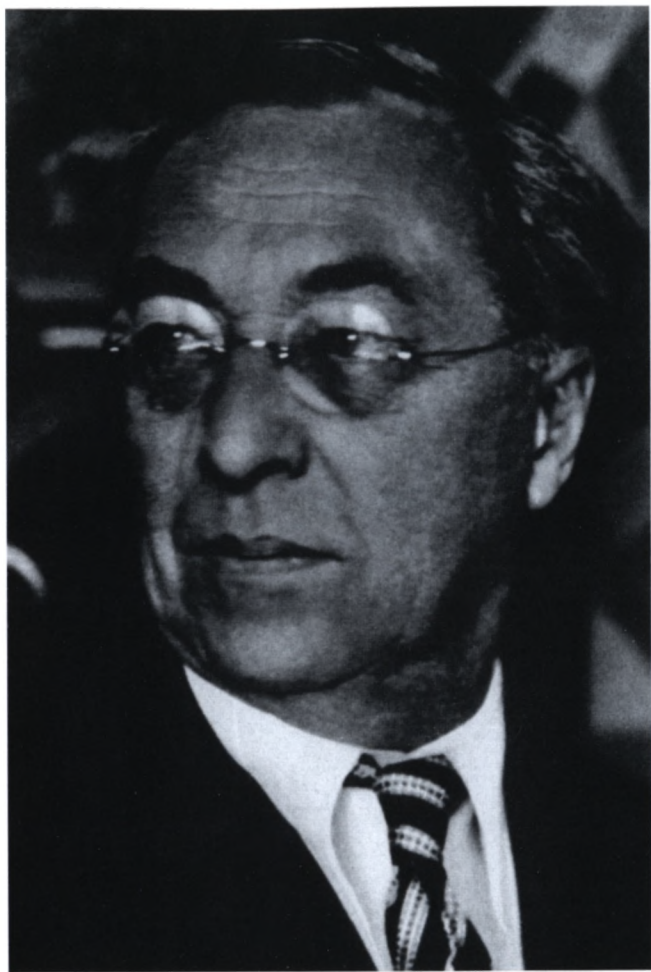
Сэр Герберт Руд (1950-е гг.)



Василий Кандинский. Композиция X (1939 г.)



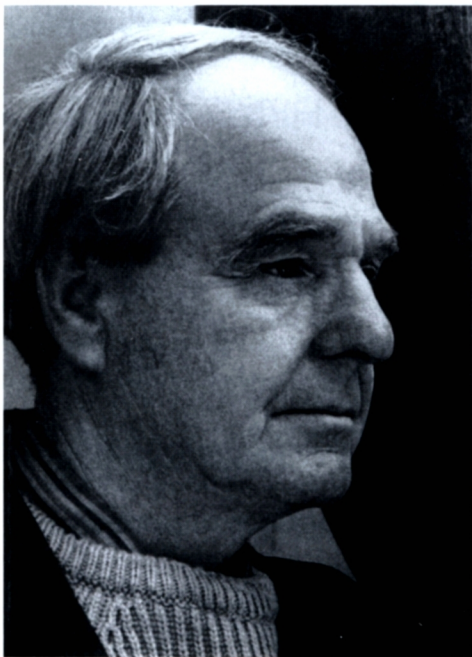
Василий Кандинский. Сдержанный порыв (1944 г.)



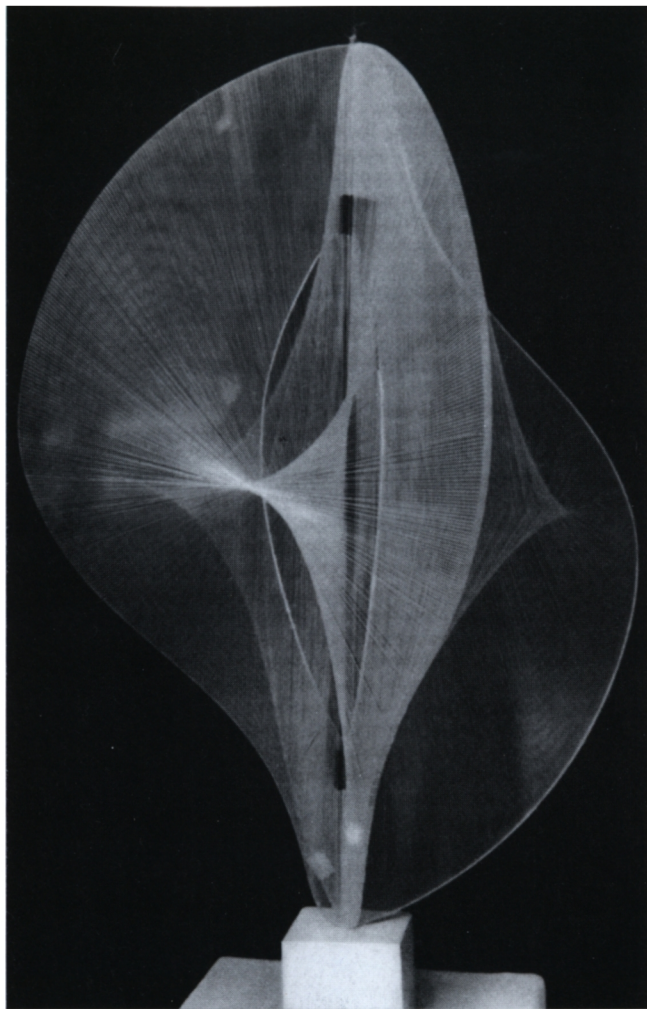
Василий Кандинский. (1933 г.)



*Грэм Грин с Жанной Себерг на съемках фильма
«Святая Жанна»*



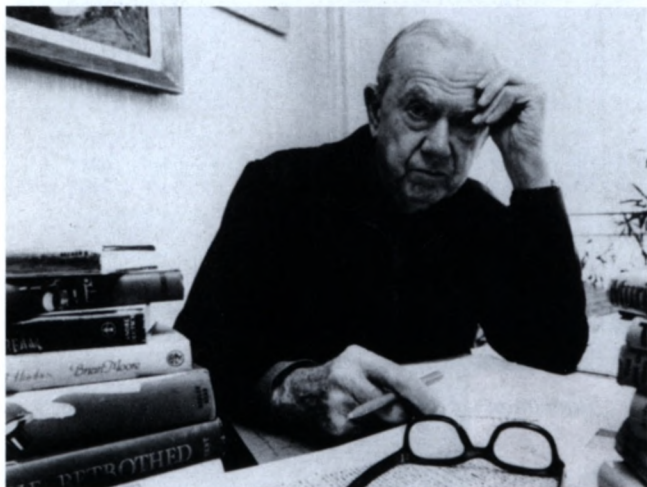
*Генри Мур
в зрелые годы*



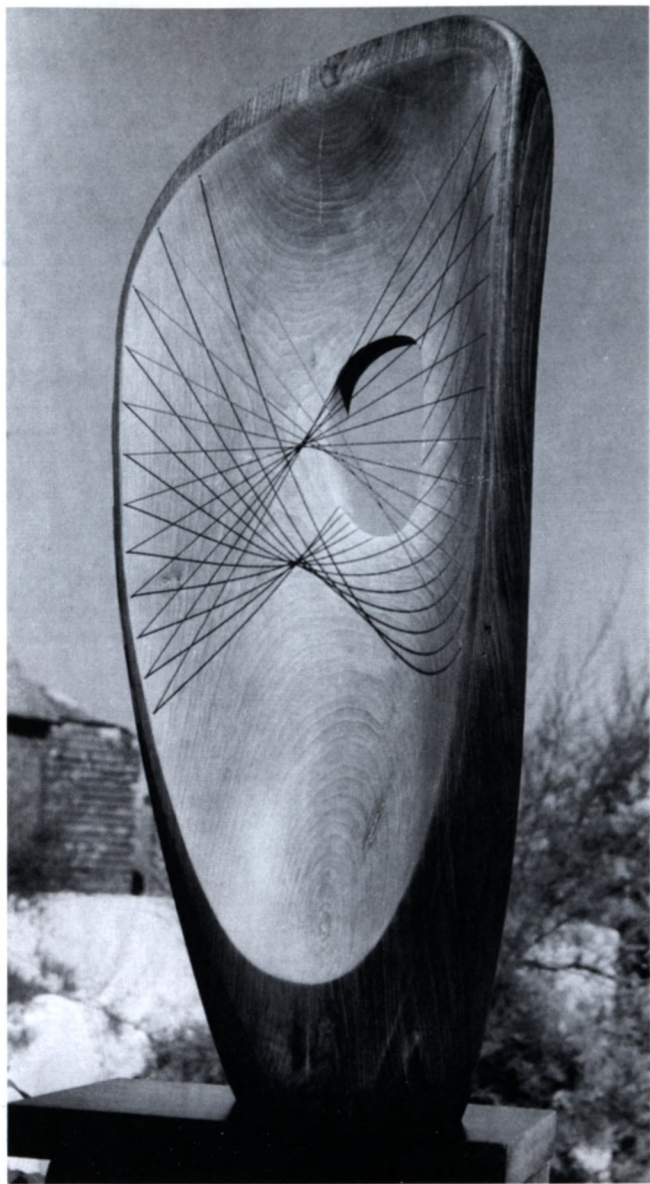
Линейная конструкция. Скульптура Наума Габо



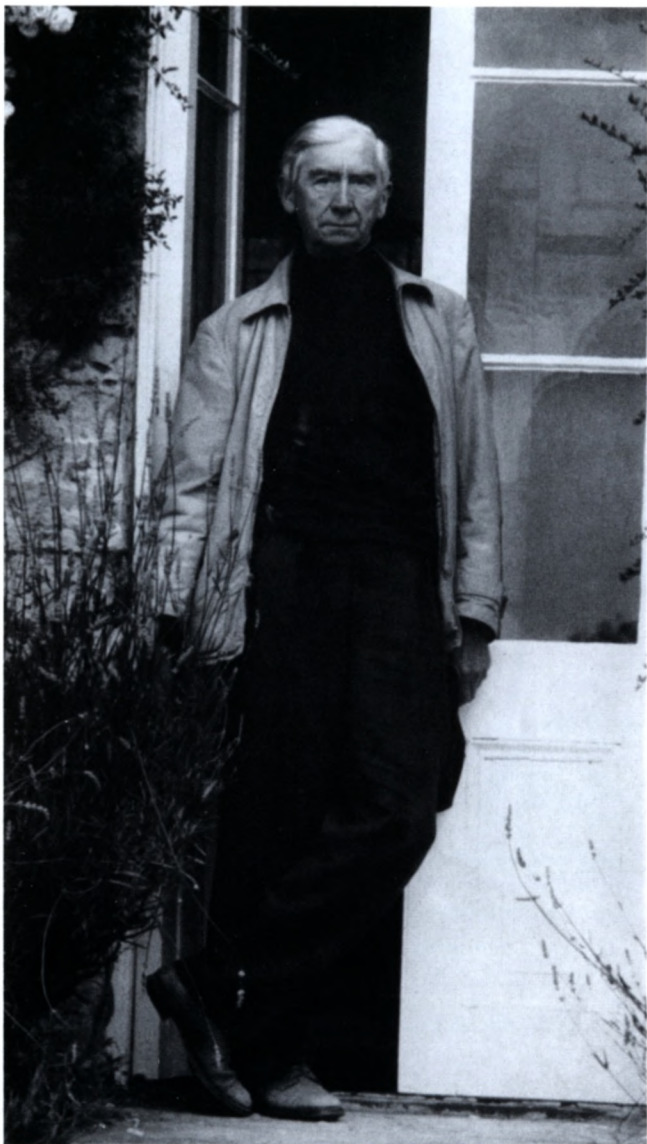
Барбара Хенуорт в 1960-е гг.



Грэм Грин в своей квартире в Антибе



Фигура со струнами. Скульптура Барбары Хепуорт



*Сэр Герберт Рид на пороге своего дома
в Стоунгрейв в 1966 г.*

skan Larisa_F

